

Николай Добролюбов

Черты для характеристики русского простонародья



Николай Александрович Добролюбов

Черты для характеристики русского простонародья

Теперь дело литературы – преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожденные им понятия, возводя их к коренному их началу. Марко Вовчок, в своих простых и правдивых рассказах, является почти первым и весьма искусным борцом на этом поприще. В последних своих рассказах он даже не старается, как в прежних, выставлять перед нами преимущественно то, что называется обыкновенно «злоупотреблением помещичьей власти». Что уж толковать о злоупотреблении того, что само по себе дурно, – о злоупотреблении пьянства или воровства, например! Что уж говорить о таких явлениях, к которым подавало повод крепостное право, но без которых оно могло иногда и обходиться! Нет, автор берет теперь нормальное положение крестьянина у помещика, не злоупотребляющего своим правом, и кротко, без гнева, без горечи рисует нам это грустное, безотрадное положение.

Содержание

#1	0005
Примечания	0175

**Николай Александрович
Добролюбов**
**Черты для характеристики
русского простонародья**

(Рассказы из народного русского быта
*Марка Вовчка. Издание К. Солдатенко-
ва и Н. Щепкина. М. 1859)*

В прошлом году некоторые обстоятельства, всего более досадные для нас самих, помешали нам подробно говорить о малороссийских рассказах Марка Вовчка, переведенных г. Тургеневым{1}. Мы должны были ограничиться только небольшою выдержкою из статьи г. Костомарова, написанной им для «Современника» еще тогда, когда «Народні оповѣщанія» только что появились в малороссийском подлиннике{2}. Надеемся быть несколько счастливее теперь, при появлении новой книжки рассказов Марка Вовчка, еще более любопытных для нас, так как они взяты из жизни народа великорусского.

Мы вовсе не из землячества интересуемся изображениями великорусского быта более, чем малороссийского. У нас есть на это другие причины, заключающиеся в тех мнениях, каким в последнее время подвергался великорусский крестьянин, преимущественно пред малорусским. Узкий патриотизм, все человеческие интересы подчиняющий землячеству, достаточно надоедает и в немцах какого-нибудь ландграфства Гессен-Гомбургского или княжества Лихтенштейнского; мы можем от

него и освободить себя. У нас нет причин разъединения с малорусским народом; мы не понимаем, отчего же, если я из Нижегородской губернии, а другой из Харьковской, то между нами уже не может быть столько общего, как если бы он был из Псковской. Если сами малороссы не совсем доверяют нам, так этому виной [такие] исторические обстоятельства [в которых участвовала административная часть русского общества,] а уж никак не народ. Да это, впрочем, понимает масса людей в самой Малороссии [: *москалями* зовут там солдат, так точно, как *панами* зовут помещиков...].

Сами рассказы Марка Вовчка служат доказательством того, что благоразумные малороссы умеют ценить народ русский, не делая резкой разницы между Малой и Великой Россией. Новая книжка «Народных рассказов» проникнута тем же характером и тенденциями, как и прежние «Народні оповцання». Великие силы, таящиеся в народе, и разные способы их проявления под влиянием крепостного права – вот что видим мы в этих рассказах. Тон автора обрывисто певучий, характер

рассказа грустный и задумчивый, второстепенные подробности, полные чистой и свежей поэзии в описаниях и беглых заметках, – все это осталось таково же, как и в прежних рассказах. Только имена людей и мест, изображения природы, игры и песни вводят нас в великорусский быт, да еще отношения крестьян к крепостному праву имеют здесь свой особенный оттенок.

Эта-то особенность и занимает нас всего более. В малороссийских рассказах мы видели злоупотребления помещичьей власти и злоупотребления нередко довольно крутые. Это даже подало, говорят, повод одному известному русскому критику объявить произведения Марка Вовчка *«мерзостно-отвратительными картинками»* и, причисливши их к обличительной литературе, вследствие этого отвергнуть в авторе их всякий талант литературный{3}. Мы не читали статейки строгого критика, потому что давно уже перестали интересоваться его литературными приговорами; но тем не менее мы понимаем процесс, посредством которого он составил свое заключение. Он – приверженец теории «искус-

ства для искусства»; рассказы Марка Вовчка нашли себе хвалителей тоже в числе приверженцев этой теории. Можете себе представить, что именно нравилось в этих рассказах таким хвалителям. Мы сами слышали, как двое художественных ценителей восхищались необыкновенною прелестью и поэтичностью одного места, которое, кажется, так читается: «Геть, геть, далеко в поле крест над его могилою виднеется». Строгий критик, осудивший Марка Вовчка, оказался даже несколько благоразумнее подобных ценителей, понявши, что «геть, геть, далеко в поле» еще не есть чрезвычайная высота художественности. А что он ничего другого не в состоянии был понять в «Народных рассказах», так это опять совершенно естественно, и весьма странен был бы тот, кто стал бы ожидать от него такого понимания. Тогда он сделался бы отступником теории «искусства для искусства»; а может ли он отступить от нее? Без нее что бы он стал делать на свете, куда бы годился он? Без нее он должен был бы исчезнуть, как исчез Иван Александрович Чернокнижников, как исчезал Кузьма Петрович

Прутков [на то время, когда у нас поднимались великие общественные вопросы].

Но дело не в приговорах художественного критика: бог с ним, – ведь его никто не принимает серьезно, стало быть художественные потехи его остаются совершенно безвредными. Мы имеем в виду другие толки, другие мнения, о которых считаем удобным поговорить теперь, по поводу книжки Марка Вовчка. Мнения эти довольно распространены в известной части нашего общества, называющей себя образованною, и между тем они обнаруживают [не только] непонимание дела [но] и [крайнее] легкомыслие [или самую неразумную недобросовестность]. Мнения, о которых мы говорим, касаются характеристики русского крестьянина и его отношений к крепостному праву. Крепостное право приходит к своему концу [и делается достоянием истории; о нем нечего толковать, оно отжило свой век]. Но факты, [тяготевшие над государством] в течение столетий, не проходят даром, не остаются без всякого следа. Какое-нибудь местничество держится в нравах, спустя два столетия после его уничтожения законом;

можно ли ожидать, чтобы внезапно пересоздались все отношения, бывшие следствием крепостного права? Нет, еще долго будет оно отзываться нам – и в книжках, и в гостиных разговорах, и в целом устройстве наших житейских отношений. Понятия не только отживающего поколения, не только того, которое теперь действует, но и того, которое еще только готовится выступить на общественную деятельность – сложились, если не прямо на основании крепостного [несвободного] устройства, то, во всяком случае, не без сильного его влияния. [До последнего времени нельзя было с достаточною прямою восставать против этих понятий, потому что основание их, –] крепостное начало, – было узаконено и принято государством. Теперь это начало отвергнуто, [признано противным правам человечества, лишено покровительства законов,] и, стало быть, понятия и требования, им порожденные и воспитанные, находят себе осуждение в том самом, что прежде служило им оградой. Теперь дело литературы – преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожден-

ные им понятия, [возводя их к коренному их началу]. Марко Вовчок, в своих простых и правдивых рассказах, является почти первым и весьма искусным борцом на этом поприще. В последних своих рассказах он даже не старается, как в прежних, выставить перед нами преимущественно то, что называется обыкновенно «злоупотреблением помещичьей власти». Что уж толковать о злоупотреблении того, что само по себе дурно [– о злоупотреблении пьянства или воровства, например]! Что уж говорить о таких явлениях, к которым подавало повод крепостное право, но без которых оно могло иногда и обходиться! Нет, автор берет теперь нормальное положение крестьянина у помещика, не злоупотребляющего своим правом, и кротко, без гнева, без горечи рисует нам это [грустное, безотрадное] положение. И из этих очерков, – в которых каждый, кто хоть немного имел дело с русским народом, узнает знакомые черты, – из этих очерков восстает перед нами характер русского простолюдина, сохранивший основные черты свои посреди всех обезличивающих, давящих [убивающих] отношений,

которым он был подчинен в течение нескольких столетий. На некоторые черты этого характера мы и хотим теперь обратить внимание.

Известно, что о русском народе существует два мнения, противоположные друг другу в самом корне. Одни полагают, что русский человек ни на что сам по себе не годится и представляет не более, как нуль: если подставить к нему какие-нибудь [иностранные] цифры, то выйдет что-нибудь, а если нет, так он и останется в полнейшем ничтожестве. Другие, напротив, имеют о русских то же понятие, какое имеют насчет; обезьян некоторые простолюдины, уверяющие, что обезьяна все понимает и говорить умеет, только из хитрости скрывает свои дарования. У нас, видите ли, что ни мужик, то гений; мы неучены, да нам и науки никакой не нужно, – русский мужик топором больше сделает, чем англичане со всеми их машинами; все он умеет и на все способен, да только, – не знаю уж почему, – не показывает своих способностей. Эти два мнения многими распространяются не только на Великую, но и на Малую и Белую Россию и на

все славянское племя. Первое мнение, как известно, теперь уже отстало: оно процветало до 1812 г. Отечественная война показала нам, что мы такое есть на свете, и мы до того прониклись славою двенадцатого года, что наконец сделали-таки его смешным – и у себя и перед иностранцами. [Таким образом, в одной карикатурной истории России, изданной во Франции во время восточной войны, Олег идет на Константинополь с криком: «Не посрадим русской земли, умрем за веру и отечество! *Мы те же герои, что и в 1812 году!*» То же кричит и Игорь и Святослав и т. д.] Действительно, двенадцатый год сделался для нас неисчерпаемым источником самохвальства и заменю всех добродетелей. Толкуют нам о взятках, а мы вспоминаем двенадцатый год, [указывают на комиссариат – мы обращаемся к двенадцатому году,] говорят о движении идей – мы сейчас же к двенадцатому году и к Пушкину... Так было до 1857 года, в конце которого появились первые официальные распоряжения об освобождении крестьян{4}. Тут общество осмотрелось и, все продолжая восхищаться Пушкиным и двена-

дцатым годом, сделало, однако же, более точное определение своих мнений. Оно нашло, что двенадцатый год, как и Пушкин, не принадлежит всему народу без исключения, что не всякая голь перекатная способна понимать прелесть «Евгения Онегина», да не всем поголовно принадлежит и заслуга [вымораживания] французов. Решено было, что в России движение идей и движение доблестей совершалось в одной известной части народа, и о высоком значении этой части в судьбах всей России, именно в этом отношении, «Московский вестник» уже обещал нам представить статью одного знаменитого русского писателя. Будем ждать обещанной статьи и тогда, если позволят обстоятельства, попробуем вникнуть в подробности дела, защищаемого знаменитым писателем, а теперь будем продолжать изложение того, как в образованной части общества сформировалось в последнее время несколько более определенное понятие о доблестях русского народа. Доблести эти, по новейшей редакции, принадлежат, собственно, «известной части» общества; масса же народа, хотя тоже, конечно, имеет их, но еще не

может быть вполне признана их обладательницей, ибо еще не начала жить «сознательной жизнью». Это мнение так было хорошо выдуманно, что к нему пристали все – и те, которые уверяли, что русский человек – нуль, и те, которые давали понять, что он – хитрая обезьяна. Первые говорили: «Ну да, когда кто-нибудь возьмется за дело и внушит русскому человеку, что и как надо делать, так он и делает... Мы ведь о том именно и говорили, что он сам по себе, без руководителя, никуда не годится». Другие тоже восклицали: «Ну да, и мы ведь стояли на том, что русский человек способен ко всему; а само собой разумеется, что надо эту способность направить, надо уметь его вести хорошенько». Таким образом, все согласились, что русский человек есть существо удоборуководимое и неотлагаемо нуждающееся в руководительстве, в мирном, так сказать, и отеческом попечении о развитии и направлении его рук, ума и воли. [Читатель, конечно, без комментариев понимает, что значит такое соединение противоположных мнений и где тут главный жизненный пункт... Заметим еще, что] здесь-то и специа-

лизировалось понятие о русском человеке, как о великорусском крестьянине по преимуществу. Славянское племя было вызываемо на сцену только в разговорах уже весьма выспренного свойства, и то преимущественно людьми, любящими толковать о гниении Европы{5}. Что же касается до общепринятых толков, то в них великорусский крестьянин явно отделялся даже от малорусских и белорусских своих собратий. Относительно белорусского крестьянина дело давно решенное: [забит] окончательно, так что даже лишился употребления человеческих способностей. Не знаем, в какой степени ложно это мнение, потому что не изучали специально белорусского края; но поверить ему, разумеется, не можем. [Целый край так вот взяли, да и забили, – как бы не так! Это так же, как итальянцев забили, расслабили, лишили любви к родине и к свободе!.. Посмотрите-ка теперь на них... Во всяком случае вопрос о характеристике белорусов должен скоро быть разъяснен трудами местных писателей.] Посмотрим, что еще скажут сами белорусы. Кстати, мы уже слышали, что с будущего года предпо-

ложено издание «Белорусского вестника», редакцию которого принимает на себя некто г. А. Крейц, человек, на усердие и благородство направления которого можно надеяться.

Что касается до малорусских крестьян, то они заслужили отзывы, гораздо более благоприятные. Наше образованное общество училось истории; а известно, что в истории говорится о [кровавой,] смертельной борьбе Украины за свою народность. Кроме того, наше образованное общество отличается вкусом к изящным искусствам и поэзии; а известно, что Малороссия изобилует прелестными песнями, прославляющими козацкую удаль и нежные семейные чувства. Все это, в соединении с тем обстоятельством, что крепостное право водворено в Малороссии очень недавно (это тоже известно из истории){6}, и поставило наших образованных людей в необходимость несколько выгородить малороссов из того повального осуждения на [удоборуководимость,] которым характеризовали русского человека. «Малоросс ленив, упрям, но горд и независим по характеру; у него тотчас слагается протест против всякого нарушения его

прав, и хотя протест этот остается недействительным, но все же он заявляется». Так благоволили отзываться о малороссах весьма умные люди [такие, которые даже перестали гордиться тем, что они малороссов лишь изредка, да и то в шутку, называют хохлами]. Разумеется, к своему рассуждению они все-таки прибавляли, что руководство необходимо и малороссу, потому что и он тоже необразован и груб, но что во всяком случае надо стараться, чтобы не было поводов к таким попечениям о нем, какие изображены в «Народніх оповцаннях» Марка Вовчка. [К великоруссам вообще были гораздо суровее.] Не то чтобы их считали достойными такого обращения, какое выставлено в малороссийских рассказах, а так, знаете, находили, что для великорусса это бы ничего: он, дескать, привык и не очень чувствителен к подобному обхождению. Тонкие и деликатные чувства в нем заглохли; сознания собственного достоинства и чувства чести для него не существует; прав собственной личности и личности другого он не понимает, и потому весьма многие вещи, которые [возмущают нас до

глубины души,] не возбуждают в нем ни малейшего [негодования,] не вызывают даже слабого протеста. Мало того: русский мужик даже не понимает иных мер, кроме строгости. Напрасно будете вы взывать к его человеческому достоинству, к святым чувствам долга и права: он не поймет вас, потому что эти чувства ему незнакомы. Для него нужны иные побуждения; нужно, чтобы требования долга олицетворялись в известном начальстве, с строгою карою за каждое преступление их. Оттого-то необходимо удержать еще на долгое время телесное наказание в крестьянских общинах, оттого-то опасно выводить их из-под благодетельного, отеческого надзора помещиков.

Так толкуют многие умные люди, даже печатно. Раскройте любую книжку «Журнала землевладельцев», из которого недавно перепечатаны великолепные «Вечера с разговором», известные, вероятно, нашим читателям по выписке из них в «Свистке»{7}. Да обратитесь и к «Сельскому благоустройству»{8} – и там найдете то же самое, и ежели захотите поискать, то отыщете нечто подобное и в дру-

гих журналах, только, разумеется, несколько в иных формах. Мы выставили самую грубую, то есть самую простую форму мнения о том, что, вследствие чего бы то ни было, мужик русский имеет теперь низшую природу, нежели прочие люди, принадлежащие к [привилегированным] классам. А бывает форма гораздо более замысловатая. Например: «Удивительно создан русский человек! Какая сила терпения, какое величие самоотвержения! Мы кричим и хлопчем, едва нас пальцем тронет кто-нибудь, а русский мужичок безропотно переносит всевозможные тягости и обременения и, в надежде на милость божию, спокойно идет своею серенькой полоской, неустанно работая и зная, что не ему будут принадлежать плоды трудов его. Мы эгоистически рассчитываем каждый свой шаг, принесет ли он нам пользу, а простого русского человека пошлите на верную смерть – он пойдет беспрекословно, даже не спрашивая, зачем его посылают»... и т. д. и т. д. Вы видите, что сущность мнения та же самая: мужик, дескать, груб и необразован, и потому не имеет ни сознания прав своей личности, ни соб-

ственного разума и воли. Но форма здесь, очевидно, дипломатическая, и потому в подобных формах высказываются обыкновенно такие образованные люди, которые готовятся к ораторским торжествам и в ожидании их дают обеды знаменитым иностранцам и пред *оними* расточают свое красноречие.

Но справедливы ли, в сущности, мнения образованных и красноречивых людей? Точно ли существенная и отличительная черта русского простого человека – «недостаток инициативы», необходимость постороннего понуканья? «Гром не грянет, – мужик не перекрестится», – говорят в свое подкрепление красноречивые знатоки русской народности, выдавая этот пошлый афоризм какого-то грамотея за *народную* русскую пословицу. Но что они под громом-то разумеют? Не «*аплодисменты*» ли, о которых говорит Щедрин в начале своих «Губернских очерков»? Не душе-спасительное ли русское слово, убеждающее русского человека работать не впрок себе? {9} Да, если [взять юридическую точку зрения и] трактовать крестьянина как вещь [себе не принадлежащую,] то, конечно, выйдет, что у

него и не должно быть никакой инициативы, что она была бы преступлением и что так как за преступление наказывают, то он очень хорошо делает, что ее не обнаруживает. Но оставьте крепостное воззрение, да оставьте не в формальностях только, а совсем, в самой сущности оставьте и постарайтесь представить себе русского мужичка как обыкновенного независимого человека, как гражданина [пользующегося всеми правами и преимуществами свободного государства]. Если у вас достанет на это воображения и если хоть немножко знаете основание характера и быта русского простонародья, то в вашем воображении тотчас явится картина людей, очень хорошо и умно умеющих располагать своими поступками. А чтобы помочь вам в подобном представлении, мы берем книжку Марка Вовчка и напомним вам несколько русских характеров, в ней изображенных.

Надо заметить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественною полнотою, а только лишь намечены в коротеньких рассказцах Марка Вовчка. Мы не можем искать у него эпопеи нашей на-

родной жизни, — это было б уж слишком много. Такой эпопеи мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего еще и думать о ней. [Самосознание народных масс] далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всего себя поэтическим образом; писатели из образованного класса до сих пор почти все занимались народом, как любопытной игрушкой, вовсе не думая смотреть на него серьезно. Сознание [великой роли народных масс в экономике человеческих обществ] едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьезные, искренне и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений едва ли не самое почетное место принадлежит очеркам Марка Вовчка. В них много отрывочного, недосказанного, иногда факт берется случайный, частный, рассказывается без пояснения его внутренних или внешних причин, не связывается необходимым образом с обычным строем жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяем, невозможно еще требовать от наших рассказов из крестьян-

ской жизни: она еще не открывает нам себя во всей полноте, да и то, что открыто нам, мы не всегда умеем или не всегда можем хорошо выразить. Для нас довольно и того, что в рассказах Марка Вовчка мы видим желание и умение прислушиваться к [этому еще отдаленному для нас, но сильному в самом себе, гулу] народной жизни; мы чуем в них присутствие русского духа, встречаем знакомые образы, узнаем ту логику, те [требования и наклонности,] которые мы и сами замечали когда-то, но пропускали без внимания. Вот чем и дороги для нас эти рассказы; вот почему и ценим мы так высоко их автора. В нем видим мы глубокое внимание и живое сочувствие, в нем находим мы широкое понимание той жизни, на которую смотрят так легко и которую понимают так узко и убого многие из образованнейших наших экономистов, славянистов, юристов, [либералов,] нувеллистов и пр. и пр.

В книжке Марка Вовчка шесть рассказов, и каждый из них представляет нам женские типы из простонародья. Рядом с женскими лицами рисуются, большею частью несколько в

тени, мужские личности. Это обстоятельство ближайшим образом объясняется, конечно, тем, что автор рассказов Марка Вовчка – женщина. Но мы увидим, что выбор женских лиц для этих рассказов оправдывается и самой сущностью дела. Возьмем прежде всего рассказ «Маша», в котором это выказывается с особенной ясностью.

Мы помним первое появление этого рассказа{10}. Люди, еще верующие в [святость и] неприкосновенность крепостного права, пришли от него в ужас [и с негодованием упрекали вольнодумную цензуру, осмелившуюся пропустить такой рассказ]. А в рассказе раскрывается естественное и ничем незаглушимое развитие в крестьянской девочке любви к [свободе] и отвращения к рабству. Ничего преступного тут нет, как видите; но на приверженцев крепостных отношений подобный рассказ действительно должен был произвести потрясающее действие. Он залетал в их последнее убежище [, сбивал с последней позиции, в которой они считали себя неприступными]. Видите ли, они, как люди гуманные и просвещенные, согласились, что кре-

постное право в основании своем [противно правам человечества. Они вполне понимают, что принадлежность человека другому такому же человеку есть нелепость, несообразная с успехами современного просвещения. Все это так...]. Но, вслед за тем, они говорили, что ведь мужик еще не созрел до настоящей [свободы,] что он о ней и не думает, и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением, – разве уж только где барщина очень тяжела и приказчик крут... «Да и помилуйте, откуда заберется мужику в голову мысль о свободе? Книг он не читает [, не только запрещенных, а и] вовсе никаких [(а ведь известно, что все это вольнодумство не от чего другого, как от книг происходит)]; с литераторами не знаком; дела у него довольно, так что утопий сочинять и недосуг... Живет он себе, как жили отцы и деды, и если его теперь хотят освободить, так это чисто по милости, по великодушью... И поверьте, что мужик не скоро еще очнется, не скоро в толк возьмет, что такое и зачем дают ему... Многие, очень многие еще всплачутся по прежней жизни». Так уверяли умные и просвещенные [земледельцы и их

единомышленники] и считали невозможным всякое возражение. И вдруг, представьте себе – [им не возражают уже даже, а прямо уличают их во лжи, оспаривают] действительность факта, на который они ссылаются. Им рассказывают случай, доказывающий, что и в крестьянском сословии [возможна и] естественна любовь к свободному труду и независимой жизни и что развитие этого чувства не нуждается даже в пособии литературы. Вот какой простой случай им рассказывают.

У крестьянской старушки воспитываются две сироты: племянница ее Маша и племянник Федя. Федя – как быть мальчик, веселый, смирный, покорный; а Маша с малолетства выказывает большую своеобразность. Она не довольствуется тем, чтобы выслушать приказание, а непременно требует, чтобы сказали ей, зачем и почему; ко всему она прислушивается и присматривается и чрезвычайно рано обнаруживает склонность иметь свое суждение. Будь бы девочка у строгого отца с матерью, у нее эту дурь, разумеется, мигом бы выбили из головы, как обыкновенно и делается у нас с сотнями и тысячами девочек и

мальчиков, обнаруживающих в детстве излишнюю пытливость и неуместную претензию на преждевременную деятельность рассудка. Но к счастью или несчастью Маши, тетка ее была добрая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ее юркость, но даже и сама-то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворить расспросам племянницы или переспросить ее. Таким образом, Маша получила убеждение, что она имеет право думать, спрашивать, возражать. Этого уж было довольно. На седьмом году случилось с ней происшествие, которое дало особенный оборот всем ее мыслям. Тетка с Федей поехали в город; Маша осталась одна караулить избу. Сидит она на завалинке и играет с ребятишками. Вдруг проходит мимо барыня; остановилась, посмотрела и говорит Маше: «Что это так шумелась? Свою барыню знаешь? А? чья ты?» Маша оробела, что ли, не ответила, а барыня-то ее и выбранила: «Дура растешь, не умеешь говорить». Маша в слезы. Барыне жалко стало. «Ну, поди, – говорит, – ко мне, дурочка». Маша нейдет; барыня приказывает ребятиш-

кам подвести к ней Машу. Маша ударилась бежать, да так и не пришла домой. Воротились тетка с Федей из города, – нет Маши; пошли искать, искали-искали, не нашли; уж на обратном пути она сама к ним вышла из чьего-то конопляника. Тетка хотела ее домой вести, – нейдет. «Меня, – говорит, – барыня возьмет, не пойду я». Кое-как тетка ее успокоила и тут же ей наставление дала, что надо барыню слушаться, хоть она и сурово прикажет...

– А если не послушаешься? – промолвила Маша.

– Тогда горя не оберешься, голубчик, – говорю[1]. – Любо разве кару-то принимать?..

Федя даже смутился, смотрит на сестру во все глаза.

– Убежать можно, – говорит Маша, – убежать далеко... Вот Тростянские летось бегали.

– Ну, и поймали их, Маша... А которые на дороге померли.

– А пойманных-то в острог посадили, распинали всячески, – говорит Федя.

– Натерпелись они и стыда и горя, ди-

тятко, – я говорю; а Маша все свое: «Да чего все за барыню так стоят?»

– Она барыня, – толкуем ей, – ей права даны, у ней казна есть... так уж ведется.

– Вот что, – сказала девочка. – А за нас-то кто ж стоит?

Мы с Федей переглянулись: что это на нее нашло?

– Неразумная ты головка, дитяtko, – говорю.

– Да кто ж за нас? – твердит.

– Сами мы за себя, да бог за нас, – отвечаю ей (стр. 29).

И с той поры у Маши только и речей, что про барыню. «И кто ей отдал нас? и как? и зачем? и когда? Барыня одна, – говорит, – а нас-то сколько! Пошли бы себе от нее, куда захотели: что она сделает?» Старушка тетка, разумеется, не могла удовлетворить Машу, и девочка должна была сама доходить до разрешения своих вопросов. Между тем скоро пришлось ей применить и на практике свой [радикальный] образ мыслей. Барыня вспомнила про Машу и велела старосте посылать ее на работу в барский сад. Маша уперлась: «Не

пойду», – говорит, да и только. Тетке стало жалко девочку: сказала старосте, что больна Маша. За эту отговорку и ухватилась девчонка: как только господская работа, она больна. Уж барыня и к себе ее требовала и допрашивала: «Чем больна?» – «Все болит», – отвечает Маша. Барыня побранит, погрозит и прогонит ее. А на другой раз опять то же.

Сколько ни уговаривал Машу брат ее, сколько ни просила тетка, [на которую барыня тоже гневалась за племянницу,] – ничто не помогало. Маша не только не хотела работать, да еще при этом и держала себя так, как будто бы она была в полном праве, как будто бы то, что она делала, так и должно было делать ей. Она не хотела, например, попросить у барыни, чтоб освободила ее от работы. «Стоило только поклониться, попроситься, – рассуждает [простодушная] тетка, – барыня ее отпустила бы сама: да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глаз-то на барыню не поднимет, и голос-то глухо звучит... А ведь известен нрав барский: ты обмани – да поклонись низко, ты злой человек – да почтителен будь, просися, молися: ваша, мол, власть казнить и

миловать – простите! и все тебе простится; а чуть возмутился сердцем, слово горькое сорвалось, – будь ты и правдив и честен – милости над тобой не будет; ты грубиян! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а ведь как она Машу донимала! «Погодите, – бывало, на нас грозитя, – я вас всех проучу!» Хоть она и не карала еще, да с такими посулками время невесело шло».

А в Маше отвращение от барской работы дошло до какого-то ожесточения, вызывало ее на бессознательный, безумный героизм. Раз брат упрекнул ее, что она от работы отговаривается болезнью, а в плясках да играх перед всей деревней отличается. «Разве, – говорит, – ты думаешь, до барыни не дойдет? Нехорошо, что ты нас под барский гнев подводишь». После этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотрит она из окошка на игры подруг, слеза бежит у ней по щеке, а не выйдет из избы. Тетка стала посылать ее к подругам, брат стал упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрек: «Я, – говорит, – Федя, не сердита, а только ты не упрашивай меня понапрасну, – не пойду». Так и не

ходила, а по ночам не спала да по огороду все гуляла, одна-одинешенька; и никому того не сказывала, – да раз невзначай тетка ее подстерегла... «Бог с тобой, Маша, – говорит ей тетка. – Жить бы тебе, как люди живут. Отбыла барщину, да и не боишься ничего... А то вот по ночам бродишь, а днем показаться за ворота не смеешь». – «Не могу, – шепчет, – не могу! Вы хоть убейте меня – не хочу». Так и оставили ее...

Между тем Маша выросла, стала невестой, красавицей. Старуха тетка начинает ей загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужем. Но Маше и то не по нраву: «Что же замужем-то, одинаково, – говорит. – Какое счастье!..» Тетка толкует, что не все горе на свете, есть и счастье. «Есть, да не про нашу честь», – отвечает Маша [с горькой усмешкой...]. Слушая такие речи, и Федя начинает задумываться [и пригорюниваться]. Но Федя не может предаваться своим думам: он отбывает барщину. Маша же продолжает упорно отказываться от всякой работы. Все на деревне стали дивиться и роптать на безделье Маши, а барыня однажды так рассердилась, что

велела немедленно силою привести к себе Машу. Привели ее. Барыня бросилась к ней, бранится и серп ей в руки сует: «Выжни мне траву в цветнике». Да и стала над нею: «Жни!» Маша как взмахнула серпом – прямо себе по руке угодила. Кровь брызнула, барыня перепугалась: «Ведите ее домой скорее! вот платочек – руку перевязать!» Тем дело и кончилось; Маша не оценила даже барской милости: как пришла домой, так сорвала с руки барынин платочек и далеко от себя бросила...

Упрямое сопротивление Маши всякому наряду на работу, ее тоска, ее странные запросы – дурно подействовали на ее брата. И он закручинился, и он от работы отбился. Старуха тетушка нашла, что парня пора женить, и говорит ему раз о невестах. «Коли свои, – говорит, – не по нраву, так бы в Дерновку съездил, там есть девушки хорошие». – «Дерновские все вольные», – отозвалась Маша. «Что ж что вольные, – вразумляет тетка... – Разве вольные не выходят за барских? Лишь бы им жених наш приглянулся». – «Если бы я вольная была, – заговорила Маша, а сама так и задрожала, – я бы, говорит, лучше на плаху го-

ловую». Федя очень огорчился этим отзывом. «Уж очень ты барских-то обижаешь, Маша, – проговорил он и в лице изменился: – Они тоже ведь люди божии, только что несчастные». Да и вышел с тем словом... Тетка начала по обычаю уговаривать Машу, говоря, что кручиной да слезами своей судьбе не поможешь, а разве что веку не доживешь. А Маша отвечает, что оно и лучше умереть-то скорее. «Что мне тут-то, – говорит, – на свете-то?»

Так живет бедная семья, страдая от неуместно поднятых и незаконно разросшихся вопросов и требований девочки. У дурной помещицы, у сердитого управляющего подобная блажь имела бы, конечно, очень дурной конец. Но рассказ представляет нам добрую, кроткую помещицу, да еще с либеральными склонностями. Она решилась дать позволение своим крестьянам выкупаться на волю. Можно представить себе, как подействовало это известие на Машу и Федю. Но мы не можем удержаться, чтобы не выписать здесь вполне двух маленьких глав, составляющих заключение этого рассказа Марка Вовчка.

А Федя все сумрачней да угрюмей, а Маша в глазах у меня тает... слезла. Один раз я сижу подле нее – она задумалась крепко; вдруг входит Федя – бодро так, весело... «Здравствуйте», – говорит. Я-то обрадовалась: «Здравствуй, здравствуй, голубчик!» Маша только взглянула: чего, мол, веселье такое?

– Маша! – говорит Федя, – ты умирать собиралась – молода еще, видно, ты умирать-то.

Сам посмеивается. Маша молчит.

– Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебе весточку принес.

– Бог с тобой и с весточкой, – ответила. – Ты себе веселись, Федя, а мне покой дай.

– Какая весточка, Федя, скажи мне? – спрашиваю.

– Услышь, тетушка, милая, – и обнял меня крепко-крепко и поцеловал. – Очнись, Маша! – за руку Машу схватил и приподнял ее. – Барыня объявила нам: кто хочет откупаться на волю – откупайся.

Как вскрикнет Маша, как бросится брату в ноги! Целует и слезами обли-

вает, дрожит вся, голос у ней обрывается: «Откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя господи! Милый мой! откупи меня! Господи, помоги же нам, помоги...»

Федя-то сам рекою разливается, а у меня сердце покатилося, – стою, смотрю на них.

– погоди ж, Маша, – проговорил Федя, – дай опомниться-то! Обсудить, обдумать надо хорошенько.

– Не надо, Федя! Откупайся скорей... скорей, братец милый!

– Помехи еще есть, Маша, – я вступилась, – придется продать, почитай, последнее. Как, чем кормиться-то будем?

– Я буду работать... Братец! безустанно буду работать. Я выпрошу, выплачу у людей... Я закабалюсь, куда хочешь, только выкупи ты меня! Родной мой, выкупи... Я ведь изныла вся! Я дня веселого, сна спокойного не знала. Пожалей ты моей юности! Я ведь не живу – я томлюсь... Ох, выкупи меня, выкупи! Иди, иди к ней...

Одевает его, торопит, сама молит-рыдает... Я и не опомнилась, как

она его выпроводила... Сама по избе ходит, руки ломает... И мое сердце трепещет, словно в молодости, – вот что затевается! Трудно мне было сообразить, еще трудней успокоиться...
Ждем мы Федю ждем, не дождемся!
Как завидела его Маша, горько заплакала, а он нам еще издали кричит: «Слава богу!» Маша так и упала на лавку, долго, долго еще плакала... Мы унимать: пускай поплачу, – говорит, – не тревожьтесь; сладко мне и любо, словно я на свет божий нарождаюсь сызнову! Теперь мне работу дайте. Я здорова... я сильная какая, если б вы знали!..

Вот и откупились мы. Избу, все продали... – Жалко мне было покидать, и Феде сгрустнулось: садил, растил, – все прощай! Только Маша веселая и бодрая – слезки она не выронила. Какое! Словно она из живой воды вышла, – в глазах блеск, на лице румянец; кажется, что каждая жилка радостью дрожит... Дело так и кипит у нее... «Отдохни, Маша!» – «Отдыхать? я работать хочу!» – и засмеется весело! Тогда я впервые узнала, что за смех у ней

звонкий! Тогда Маша белоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодельницей, первой работницей величают. И женихи к нам толпой... А барыня-то гневалась – боже мой! Соседи смеются: «Холопка глупая вас отуманила! Она нарочно больною притворилась... Ведь вы небось даром почти ее отпустили?» Барыня и вправду Машей не дорожилась...

Поселились мы в избушке ветхой, в горode, да трудиться стали. Бог нам помогал, мы и новую избу срубили... Федя женился. Маша замуж пошла... Све-кровь в ней души не слышит: «Она меня словно дочь родная утешает; что это за веселая! что это за работа-щая!» – Больна с той поры не бывала.

«Фантазия! Идиллия [в социальном вкусе]! Мечты [будущего] золотого века!» – закричали после этого рассказа практические люди с гуманными взглядами, но с тайною симпатией к крепостным отношениям. «Где это видно, чтобы в простой мужицкой натуре [могла] в такой степени развиться [любовь к свободе и] сознание [прав] своей личности? Если когда-нибудь и бывало что-нибудь подобное,

так это [чрезвычайный,] эксцентрический случай, обязанный своим происхождением каким-нибудь особенным обстоятельствам... Рассказ о Маше вовсе не представляет картины из русского быта; он есть просто заоблачная выдумка [, нравоучительная притча, которая так же точно прилична Испании, Бразилии, как и России]. Автор взял не тип русской простой женщины, а явление исключительное, и потому рассказ его фальшив и лишен художественного достоинства. Требование художественности состоит в том, чтобы воплощать» и пр. ...

Тут почтенные ораторы пускались в рассуждение о художественности и чувствовали себя совершенно в своей тарелке.

Но [они могли рассуждать, сколько им угодно, а рассказ сделал впечатление на публику.] Людям, не заинтересованным в деле, и в голову не пришло возражать против возможности и естественности такого факта, какой рассказан в «Маше». Напротив, он казался [вполне] нормальным [и понятным] для всякого знакомого с крестьянской жизнью. В самом деле, неужели [даже рассуждая а

riori,] возможно отвергать в крестьянине присутствие того, что мы считаем необходимой принадлежностью человеческого смысла у каждого из людей? [Сознание своей личности уже непременно предполагает и сознание о ее неприкосновенности, о ее правах. А неужели мы решимся поставить русских мужиков на степень существ, даже не сознающих своей личности?] Это уж было бы слишком...

Но, пожалуй, [ставьте их куда] угодно, факты докажут вам, что такие лица, как Маша и Федя, далеко не составляют исключения в массе русского народа. Таких проявлений самостоятельности, какие выказались в Маше, конечно, нельзя встретить часто. Но это ничего не значит. Форма может быть та или другая – это зависит от обстоятельств, – но сущность дела остается та же. [Люди говорят разными языками; один бывает разговорчив, а другой нет, один имеет громкий голос, а другой – слабый, – бывают даже и совсем немые, но все-таки остается не подлежащею сомнению та истина, что человек имеет дар слова. Так точно при всем разнообразии степеней, в

каких проявляется в русском простолюдине мысль о своих естественных правах и стремление освободиться от обязанного, барщинного труда, – никакого сомнения не может быть в том, что эта мысль и стремление существуют.] Что крепостной крестьянин наш находится в таком положении, в котором подобные стремления встречают [обыкновенно] препятствия [, почти неодолимые], – это опять [несомненно и] известно [всем и каждому]. Но именно сила-то этих препятствий и дает нам меру того, как сильны внутренние стремления простолюдина, которые сохраняют свою жизненность даже посреди [самых неблагоприятных] обстоятельств. Взгляните, в самом деле, на положение крестьянского мальчика или девочки и подивитесь, как у них могут сохраниться [человеческие] стремления. Отец, мать, все родные, подчиненные крепостной власти, свыкшиеся с своим положением и изведавшие, может быть, собственным [горьким] опытом [все] неудобства самостоятельных проявлений своей личности, – все стараются, из желания добра мальчику, с малых лет внушить ему [беспрекословную

покорность чужому приказу,] отречение от собственного разума и воли. Умственные способности раскрываются в ребенке как бы для того только, чтобы понять [весь ужас], все бедствия, какие может навлечь на человека склонность к рассуждениям, вопросам и требованиям. [Всякая свободная,] естественная логика заменяется житейскими правилами, примененными к [рабскому] положению ребенка, вроде тех увещаний, какие тетка делала Маше, говоря, что «известен нрав барский: будь негодяй, да поклонись – и все ничего; будь и чист и свят, да скажи слово поперек – и нет тебя хуже». Исходный пункт всех этих рассуждений – отрицание личности в подчиненном существе [признание его за тварь, за вещь, для которой нет другого закона бытия, кроме произвола того, кому она подчинена...]. К таким понятиям приходят люди после долгого ряда страданий, унижений, убедившись в своей бессилии против судьбы; и для того только, чтобы предохранить близких людей от подобных же страданий и бесплодных попыток, стараются они внушить и им эти понятия. Многие и прини-

мается слабым рассудком и слабою волею ребенка; там, где подобные внушения поддерживаются еще практически – пинками да кулаками за всякий вопрос, за каждое возражение, – там и вырастают робкие, безответные, тупые существа, ни на что не годные, кроме как на то, чтобы всякому подставлять свою спину: кто хочет – побей, а кто хочет – садись да поезжай... Но это исключения; в общей массе людей невозможно исказить человеческую природу до такой степени, чтобы в ней не осталось и следа естественных инстинктов и здравого смысла. [Один из знаменитых современных публицистов Европы заметил недавно, что, если б деспотизм мог только над двумя поколениями в мире процарствовать спокойно, без протестов против него, он бы мог навеки считать обеспеченным свое господство: двух поколений ему достаточно было бы, чтобы исказить в свою пользу смысл и совесть народа{11}. Но в том-то и дело, что деспотизм и рабство, противные природе человека, никогда не могли достигнуть *нормальности*, никогда не могли покорить себе вполне и ум и совесть человека. Подчи-

няясь силе, даже заставляя себя строить силлогизмы в пользу этого подчинения, человек, однако же, невольно чувствовал, что силлогизмы эти условны и случайны и что естественные, истинные, гораздо высшие требования справедливости – совершенно им противоположны. Отсюда постоянно напряженное, беспокойное, – недовольное положение масс, даже безропотно, по-видимому, подчинившихся наложенному на них закону рабства. В истории всех обществ, где существовало рабство, вы видите род спиральной пружинки: пока она придавлена, – держится неподвижно, но чуть давление ослаблено или снято – она немедленно выскакивает кверху. По прямому закону ее устройства она естественно стремится к расширению, и только посторонняя сила может ее сдерживать. Так и людская воля и мысль могут сдерживаться в положении рабства посторонними силами; но как бы эти силы ни были громадны, они не в состоянии, не сломавши, не уничтоживши спиральной пружинки, отнять у нее способность к расширению, точно так же, как не в состоянии, не истребивши народа, уничто-

жить в нем склонность к самостоятельной деятельности и свободному рассуждению.

К счастью, не отнимается эта склонность и у наших простолюдинов.] Эти инстинкты проявляются в человеке с самого детства. [Между крестьянскими детьми вы встретите нередко таких же наивных радикалов, как и между детьми других сословий.] Вероятно, каждому из наших читателей не раз случилось ловить детей в их мечтах и воздушных замках, провозглашаемых ими во всеуслышание. Стало случаться, вероятно, входить и в рассуждения с детьми по этому поводу, с целью довести их *ad absurdum*[2]. Вспомните же, как трудно обыкновенно достигалась подобная задача. Для ребенка не существует наша условная житейская логика [, наши приличия, наше положительное законодательство]. Там, где взрослого человека можно остановить одним словом: «Не велено, не принято» и т. п., – с ребенком нет возможности справиться. Маша никак не может понять, отчего все так стоят за барыню, и почему ее все боятся: «Она ведь одна, а нас много; пошли бы все, куда захотели, – что она сделает?..» Такие дет-

ские рассуждения, ставящие в тупик взрослого человека, чрезвычайно часто случается слышать; они общи всем детям [, которых не совсем забили при самом начале развития]. В крестьянских детях они встречаются не только не меньше, чем в детях других сословий, но даже еще чаще. Причина понятна: крестьянские дети, говоря вообще, свободнее воспитываются, отношения между младшими и старшими там проще и ближе, ребенок раньше делается деятельным членом семьи и участником общих трудов ее. А с другой стороны, и то много значит, что естественный, здравый смысл ребенка там меньше подавляется искусственными [по-видимому, удовлетворительными] ответами, какие находит мальчик или девочка образованного сословия. Мы [ведь] с ранних лет изучаем множество наук вроде мифологии и геральдики и с малолетства искажаем свой рассудок разными казуистическими тонкостями и софизмами. Крестьянский ребенок в своей необразованной семье не может слышать ничего подобного и потому долее остается верен природе [и здравому смыслу, пока наконец не уго-

монит его тяготение внешней силы, вооруженной всеми пособиями новейшей цивилизации и опирающейся на все силлогизмы и хрии, изобретенные просвещенными и красноречивыми людьми...]

[Вот эта-то сила, тяготеющая над простолюдином и] останавливающая нормальный ход [его] мысли, оставляет обыкновенно более свободы женщине, нежели мужчине: и вот почему сказали мы выше, что самая сущность дела оправдывает выбор женского лица для изображения живых [свободных] стремлений мысли и воли в крестьянском сословии. Крестьянский мальчик [рано надевает на себя тягу,] испытывает на деле несостоятельность всех своих дум и мечтаний и приучается регулярно подавлять свою мысль [и заглушать свои высшие стремления]. Девушка, как ни много разделяет она общие труды с мужчинами, все-таки имеет несколько более свободы предаться своим мыслям. Самый род многих занятий благоприятствует этому: за пряжей, тканьем, шитьем и вязаньем гораздо удобнее думать и мечтать, нежели при сеянье, паханье, жнитве, молотье, рубке леса и

пр. Притом же можно предполагать, что и у крестьян, как вообще во всех сословиях, восприимчивость и воображение сильнее у женщин, нежели у мужчин. И действительно, припомнив многие наблюдения над жизнью простонародья, мы находим, что женщины здесь вообще более мужчин склонны к рассуждениям о предметах возвышенных – о душе, о будущей жизни, о начале мира и т. п. Знахарство, врачебное искусство, знание трав и наговоров принадлежит преимущественно женщинам. Сказки, легенды [и всякого рода предания] хранятся в устах старушек; рассказы о святых местах и чужих землях также разносятся по Руси странницами и богомолками. На разговор о том, как на свете правды не стало и как все в мире беззаконствуют, можно в несколько минут навести всякую бабу. Правда, заключение разговора будет неотрадное: «Все, дескать, это по грехам нашим, и видно уж так нам на роду написано, судьба наша такая несчастная, и ничего с нею не поделаешь»... Но говорится это больше по привычке и по бессилию [; а когда станешь продолжать разговор и предлагать средства для

выхода из настоящего положения, то и окажется, что самая фаталистическая старуха не прочь бы ими воспользоваться, да только боится и не доверяет].

У мужчин замечается тот же видимый фатализм; но это опять [не фатализм веры, а фатализм отчаяния:] так, больной, убежденный в неизбежной близкой смерти и потерявший доверенность к лекарям, не хочет принимать лекарства. Так и мужик, [отчаявшись в] возможности выйти из своего положения, не хочет и говорить о нем. Но из этого не следует, чтобы больному хотелось умереть и чтобы мужику было сладко его положение. И тот и другой приняли бы с радостью всякое средство, которое могло бы послужить к их действительному облегчению. Мало того, — врачи-психологи говорят, — и нельзя не верить этому, — что всякий больной, самый отчаянный, до последней [решительной] минуты не теряет надежды на возможность такого средства, не перестает в глубине души ждать его, хотя, по-видимому, уже совершенно покорился своей участи [и готовится к смерти]. То же самое и с людьми, находящимися в стеснен-

ном положении и, по-видимому, примирившимися с ним: [они отчаялись и смирились только видимо, а] внутри их непременно бродит желание и надежда выйти из этого положения. Первые слухи об освобождении были встречены крестьянами очень недоверчиво. Нам не раз случалось, в ответ на эту новость, слышать от мужика: «Давно уж об этом толкуют; да где уж тому быть? И так век изживем». Но, при всем своем недоверии и наружном равнодушии, тот же крестьянин с любопытством расспрашивал о подробностях разных правительственных распоряжений, относящихся к делу освобождения. [А потом, когда стало ясно, что с ним не шутят, вопрос об освобождении стал для крестьян наших решительно на первом плане, как самое важное жизненное дело. Теперь нет уголка во всей России, где бы не рассказывали о том, как, при начале дела освобождения, помещичьи крестьяне собирали сходки и отправляли делегации – или к помещику, или к священнику, или даже к земским властям, чтобы разузнать, что и как намерены решить насчет их... Памятен также и тот азарт, с которым народ,

в Петербурге, бросился к сенатской книжной лавке, когда однажды, в начале 1856 г., разнесся слух, что вышел и продается указ об освобождении крестьян.]

Да и кроме этих признаков, — есть один факт, безмолвный, но убедительно свидетельствующий в пользу того, что отвращение к крепостному состоянию [, к крепостному труду] сильно развито в массе. Совсем отказаться от крепостной работы [, протестовать прямо,] крестьянин не может. Отделяться от барских приказов так, как Маша в рассказе Марка Вовчка, возможно очень редко, да и то в одиночку, а не скопом, не целой гурьбою. Как скоро подобная склонность отказаться от барской работы обнаруживалась по местам, то последствия [, как известно,] бывали для крестьян очень неприятные. Поэтому [волей-неволей] надо было работать. Но что же, однако? Во всей России, во всех крепостных имениях, без всякого, конечно, соглашения и уговора, крестьяне заявляют свой протест против обязательного труда особым способом: они работают плохо. Большею частью они даже сами не умеют формулировать объ-

яснения для своих поступков, но факт, что барщинская работа очень неспора, – повсеместен. Кроме профессора Горлова [и (вероятно) его усердных слушателей и поклонников в университете], все согласны в том, что вольнонаемный труд несравненно спорее и выгоднее обязательного. Об этом даже многие землевладельцы писали в своем журнале{12}. Чего же вам еще? Отчего происходит это явление, как не от бессознательного присутствия в каждом мужике, в каждой бабе крестьянской того же чувства, которое так ясно и сознательно выразилось в Маше Марка Вовчка? Разница в степени развития и в форме проявления, а основа и здесь и там одна и та же.

Да, мы находим, что в «Маше» рассказан не исключительный случай [, чуждый нашей жизни и могущий произойти разве с одной из ста тысяч крестьянских душ], – как претендуют [плантаторы] и художественные критики. Напротив, [мы смело говорим, что] в личности Маши схвачено и воплощено [высокое] стремление, общее всей массе русского народа [, терпеливо, но неотступно ожидающей

светлого праздника освобождения. Мы никогда не согласимся с теми, кто хочет отрицать в народе даже это ожидание, утверждая, что он еще не получил вкуса к самостоятельной жизни, к свободному распоряжению своими поступками. Благодаря историческим трудам последнего времени и еще более новейшим событиям в Европе{13} мы начинаем немножко понимать внутренний смысл истории народов, и теперь менее, чем когда-нибудь, можем отвергать постоянство во всех народах стремления, – более или менее сознательного, но всегда проявляющегося в фактах, – к восстановлению своих естественных прав на нравственную и материальную независимость от чужого произвола. В русском народе это стремление не только существует наравне с другими народами, но, вероятно, еще сильнее, нежели у других. Говорим это вовсе не потому, чтобы разделяли хоть малейшую долю мнения о превосходстве славянского племени над всеми прочими и о данном ему свыше призвании —

*Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел,*

*Хранить племен святое брат-
ство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду, и бескровный суд, —*

и все подобные прелести, о которых так звучно умеет петь господин Хомяков{14}. Нет, без всяких тонких соображений о племенных различиях, мы просто смотрим на предшествующие события и на результат их – современное положение народа. Всякому ясно, что человек совсем голодный с большим аппетитом будет есть свой обед, нежели тот, кто перед обедом успел позавтракать, тот, у кого во все нет никаких средств к жизни, будет их отыскивать энергичнее и упорнее, нежели тот, у кого есть хоть плохая возможность прожить кое-как. Из всех европейских народов самый консервативный, самый преданный установившимся законам и преданиям, конечно, англичане; и это как нельзя более понятно. Они имели время внутреннего брожения, время, когда они должны были дорогою ценою покупать себе самые ничтожные права; но, купивши их, они успокоились, если не

вполне удовлетворенные, то по крайней мере обеспеченные в самых первых необходимых своих требованиях. При этой обеспеченности дальнейшие стремления сами собою получают характер спокойный, умеренный, чуждый всякой порывистости и лихорадочности. Человек, запасшийся зонтиком, хотя и чувствует неприятность под дождем, но все-таки он прикрыт хоть несколько и потому не имеет надобности бежать к дому так торопливо, как те, у которых нечем прикрыться... Вот этого-то зонтика, под которым переносит дождь большая часть европейских народов, и не успела дать нам наша предшествующая история. Мы еще только готовимся вступить на тот путь, которым прошла Европа; мы еще недавно и глядеть-то стали на ее путешествия и едва начинаем различать дорогу. От этого идем мы робко, неровно, как бы ощупью; от этого и кажется, что у нас нет инициативы. Но мы чувствуем надобность идти, хотя бы до первой станции; нам нельзя оставаться на одном месте, нельзя и остановиться на дороге. Ясно, что начало нашего пути должно быть совершаемо с большею решимостью, спешно-

стью и твердостью, нежели продолжение пути, которое мы видим теперь у других народов. Наши нужды настоятельнее, без удовлетворения их труднее прожить, нежели без удовлетворения того, к чему стремятся теперь европейские народы. Брайтовская реформа в Англии, свобода прессы во Франции, требуемая каким-нибудь Фавром или Оливье, без сомнения, вещи нужные, и со временем они будут достигнуты; но для них еще время терпит, они далеко не так существенны и настоятельны, как законное обеспечение гражданских прав и материального быта миллионов народа, до сих пор более или менее терпевших от тяжелого влияния произвола. Для этих миллионов дело идет не о какой-нибудь прибавке к правам, которые они уже приобрели прежде, а чисто-начисто о создании хоть каких-нибудь прав, потому что под влиянием крепостного принципа они, если не *de jure*, то *de facto*[3], не имели вовсе никаких. Ясно, что жажда приобретения этих прав, если уж она раз почувствована, должна быть сильнее, нежели всякое стремление к расширению прав уже существующих; ясно, что здесь

именно всего сильнее может обнаружиться деятельность народного духа, и потому этот предмет заслуживает особенного внимания всех людей, истинно любящих народное благо. Многие до сих пор полагают, что народ, еще не получивший свободы, не должен заслуживать и серьезного внимания, так как он живет и действует не сам по себе, а как ему велят. И это рассуждение было бы справедливо, если бы оно относилось к массе окончательно обессиленной и совершенно лишенной всех человеческих стремлений. Но мы уже сказали, что не верим даже в возможность подобного обезличения целого народа и ни в каком случае не можем навязать его народу русскому]. А если потребность восстановить независимость своей личности существует, то [нам нет надобности знать, получила ли она формальное разрешение или нет: будет ли она освящена формальным образом или нет, —] во всяком случае она проявится в фактах народной жизни [, решительно и неотлагаемо. Заглушить эту потребность или повернуть ее по-своему никто не в состоянии; это река, пробивающаяся через все преграды

и не могущая остановиться в своем течении, потому что подобная остановка была бы противна ее естественным свойствам].

Но какое же именно направление может принять на практике это стремление к приобретению самостоятельности и свободы? Известно, что эти понятия самые неопределенные, и, может быть, ни одно из слов, обращающихся в разговорном обиходе человечества, не возбуждало столько споров, как слово «свобода». Ученые и философствующие люди доселе не могут окончательно согласиться в определении этого понятия; как же поймет его наш простолюдин? Многие уверяют, что, по глупости и необразованности своей, под свободой он будет разуместь возможность ничего не делать [, никого не слушаться], каждый день напиваться и буяннить; [читатели наши уже знают, к какому разряду принадлежат люди, провозглашающие такое мнение {15}. Поэтому] мы [о них не станем распространяться, а] скажем только, что [эти] люди, отзывающиеся подобным образом о крестьянах, судят по себе, не принимая в соображение разницы условий, под которыми выра-

тают они и простолюдины. Для изучения этой разницы им опять надо обратиться к Марку Вовчку: у него найдут они поучительный рассказ в этом смысле, под названием «Игрушечка».

В «Игрушечке» рассказывается история развития прекрасной детской природы, подобной Маше, но только природы барской. Сравните оба рассказа, и вы увидите, как несравненно больше залогов правильного, здорового развития заключает в себе жизнь простолюдина, нежели жизнь барчонка или барышни. Там и требования проще, и цель ближе и определеннее, и самый способ рассуждения не так искажен. Самое печальное [и губительное] искажение мысли простолюдина состоит в том, что он теряет ясное сознание [своих человеческих прав,] своей личной самобытности и непринадлежности никому другому. [На этом пути он действительно доходит до величайших нелепостей, насильственно убивая в себе самые законные требования и стремления своей природы.] Но так как природные требования всегда сохраняют известную долю силы над человеком, то всегда есть

надежда навести бедняка на правильную точку зрения. А как скоро уж он на эту точку станет, – он ее применит и к делу; в этой практичности состоит особенность крестьянской мысли [и в этом заключается ее сила]. Мы обыкновенно философствуем для препровождения времени, [иногда для пищеварения,] и большею частью о предметах, до которых нам дела нет [и которых мы никаким образом изменить не в состоянии, да и не намерены]. Крестьянину вовсе не до такой умственной роскоши; он человек рабочий, он задумывается над тем, что может иметь отношение к его жизни, и задумывается именно для того, чтобы в душе своей найти основание для практической деятельности. Припомните, о чем рассуждала, чего допытывалась Маша и к чему ее привели все ее размышления. [Нам кажется, что в ее лице автор весьма удачно выставил главнейшие вопросы, с которых должна начинаться работа мысли в целом сословии. Первый вопрос, разумеется, должен касаться личной неприкосновенности: «Что же это такое? Я не хочу, а меня тащат; зачем – неизвестно, по какому праву – непонятно; этого не

должно быть». В таком простом рассуждении заключается уже зародыш всех возможных прав и гарантий общественных. Известен процесс мышления: когда я хочу объяснить чей-нибудь поступок со мной, я ставлю самого себя на место другого и стараюсь придумать, что могло бы заставить меня на этом месте поступить таким образом; если никаких достаточных мотивов не оказывается, я признаю поступок несправедливым. Поэтому,] если ребенок задумывается над тем, по какому праву другие посягают на его личность, и кончает тем, что не находит тут никакого права, то уже в этом рассуждении вы находите гарантию того, что в ребенке нет склонности посягать самому на чужую личность. [Таким образом, люди, восстающие против насилия и произвола, тем самым дают уже нам некоторое ручательство в том, что они сами не будут прибегать к насилию и не дадут простора своему произволу;] желание неприкосновенности для своей личности заставляет уважать и личность других. Конечно, и в людях, действующих произвольно и насильственно, надобно тоже предполагать

присутствие некоторого желания, чтобы с нами не поступали так, как они с другими; но позволительно думать, что, вследствие совершенно уродливого развития, даже это желание в них не довольно сильно и притом подвержено множеству ограничений. [Замечено, что люди, гордые и деспотичные с низшими, почти всегда являются подлыми ласкателями и беспрекословными овечками перед высшими. Замечено также, что самые неумолимые, самые несносные управляющие в помещичьих имениях бывают из лакеев и что вообще лакеи себя держат пред мужиками гораздо высокомернее, чем их господа. Читатель может сам дополнить эти наблюдения еще несколькими примерами из более обширного круга, и он непременно придет к заключению, что употребление насилия над другими заглушает или по крайней мере очень ослабляет в человеке способность истинно и глубоко возмущаться против насилия над ним самим. В последнее время мы видели, правда, что люди, весь свой век не знавшие другого закона, кроме произвола, вдруг начали кричать против произвола, когда он задевал их

интересы. Но зато эти люди обыкновенно покричат, пошумят, да и отстанут: энергически, деятельно защищать то, что они считают своим правом, они не могут, потому что сознание права вообще у них очень потускнело и стерлось.

Итак, первое, что является непререкаемой истиной для простого смысла, есть неприкосновенность личности.] Рядом с понятием о неприкосновенности личности [неизбежно] является и понятие об обязанности и правах труда. «Я не имею права на стеснение чужой личности, так как никто не имеет права стеснять меня самого; значит, я не могу рассчитывать жить на чужой счет: это значило бы отнимать у других плоды их трудов, то есть насиловать, поработать их личность. Стало быть, я необходимо должен заботиться сам об обеспечении своей жизни, должен работать: живя своим трудом, я не буду иметь надобности отнимать чужое и вместе с тем, имея материальное обеспечение, буду иметь средства постоянно сохранять свою собственную независимость». Таковы простейшие соображения, из которых вытекает обязанность тру-

даться, ясная, как день, для всякого простого человека. И эти соображения не выдуманы нами теоретически: они [прочно и глубоко] лежат в душе [каждого] простолюдина. Ему, обыкновенно, даже и в голову не приходит, чтобы можно было жить на свете, ничего не делая: так оно далеко от этого на практике. Скажите любому крестьянину в рабочую пору, чтоб он отдохнул, бросил работу, вы получите простой ответ: а где ж мы хлеба-то возьмем? Не поработаешь, так и не поешь.

Стоит только обернуть рассуждение, приводящее к мысли об обязанности работать, и мы получим вывод о правах труда. «Если я должен работать для своего обеспечения, потому что не могу и не должен воспользоваться плодами трудов моего соседа, то очевидно, что и сосед должен иметь в виду то же самое соображение. Он должен работать для себя, и я никак не хочу и не считаю справедливым отдавать ему то, что я заработал». И вот мы прямо приходим к требованиям и решениям к которым пришла Маша у Марка Вовчка и которые в известной степени проявляются во всем крепостном населении русском. «Что

мне работать на других? Лучше я ничего не буду делать», – так рассуждают люди, лишенные [полных] прав на свой труд, и – [или] вообще отказываются от труда, где можно, как Маша, [например,] или стараются употреблять как можно меньше усилий и усердия для чужой работы, как делают помещичьи крестьяне вообще [по всей России]. Отсюда мы можем сделать простой вывод о том, куда направятся крестьянские силы, как скоро они получат право свободно располагать своим трудом: как Маша, при первой вести о возможности свободы, закричала, что она работать будет, хоть закабалит себя, только бы заработать свой выкуп, так точно и целая масса, после освобождения, обратится к усиленному труду, к заботам об улучшении своего положения. Теперь ведь уж *весь* труд освобожденного работника – *его*, ему принадлежит [неотъемлемо]; значит, чем больше он потрудится, тем больше и приобретет, тем лучше будет и его положение. При таких условиях даже и временное лишение личной свободы не так тяжело. Замечательно, что Маша для приобретения свободы хочет *зака-*

балить себя: это значит, что для нее главным образом не то тяжело, что она не может делать всего, что хочет, а то горько, что она должна отречься от прав на свой труд без всякого резона, бог весть зачем. Отдавая себя в кабалу, она знает, что тут условия делаются обязательными с обеих сторон; она будет в кабальной работе, а за нее зато выплатят выкуп. [Таким образом, для нее видно здесь начало и основание ее рабства; да виден и конец, и притом конец, до некоторой степени все-таки сообразный со смыслом, так как кабальный термин рассчитывается пропорционально величине уплаты и стоимости работы закабаленного. Ничего подобного не было в том состоянии, под которым жила Маша у своей барыни: там ни начала, ни конца, ни входа, ни выхода, ни смысла, ни расчета — один только произвол и вследствие того полное отсутствие всяких личных гарантий и определенных прав; что захотят, то с тобой и сделают, без резона, без отчета, без ответа... Это-то всего более и невыносимо для человека, у которого хоть чуть-чуть начинает просыпаться требование справедливости, от при-

роды присущее всем людям, но во многих заглушаемое принижением и придушением их личности.]

Таким образом, предполагая, что крестьяне получают свободу, мы видим вслед за этим, как прямой результат, – увеличение количества и возвышение качества их труда. Само собою разумеется, что мы не смеем прилагать всех вышеизложенных рассуждений, как неперемennого условия, к правительственным мерам освобождения, приводимым теперь к концу в редакционной комиссии. Мы говорили только о том, что должно быть вообще, по требованию логики и наблюдений над крестьянским бытом и характером; но мы нимало не хотим касаться специально хозяйственных и административных вопросов, подлежащих рассуждению комиссии, [и заранее определять возможные последствия тех мер, какие будут приняты правительством. Меры эти весьма естественно могут произвести свои особые действия, весьма различные от тех, какие мы можем предвидеть, рассуждая о деле в общих чертах и представляя только логические его определения. Но наша

задача состоит только в указании на некоторые черты народного характера, а вовсе не в определении способа действий крестьянских комитетов и комиссий, до которых нам здесь совсем нет дела. Поэтому, останавливаясь на самых общих намеках на то, каким образом должна быть принята и употреблена свобода каждым простолюдином нашим,) мы теперь возвратимся к той параллели, к которой, как мы сказали, подает повод рассказ «Игрушечка». «Игрушечка» – [есть не более, как] искажение имени Аграфена, Груша, Грушечка, [но] искажение, полное грустного и тяжелого значения. Эта Груша, крестьянская девочка, в самом деле была весь свой век игрушечкою своей барышни и барыни, а барышня и барыня, [загубившие ее век,] были, в сущности, совершенно невинные, добрые создания, которые никогда бы не согласились мучить и губить людей: они могли только *играть*, забавляться ими. Вся барская жизнь, изображенная в «Игрушечке», полна такой идиллии, что становится совестно сказать жесткое слово об этих господах. Ни малейшего следа какого-нибудь расчета, преднамеренности, злобы или

хитрости не видно во всей их жизни, во всех их, даже самых дурных, поступках. Как они живут и что их занимает, это нам всего лучше расскажет сама «Игрушечка» (стр. 132–135).

Господа наши были молоды. Нашу барыню все красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая, белая – только ленивая... Господи, какая она уж ленивая-то уродилась! И глянет-то она на тебя вполглаза. Всей работы у нее было, всего дела, что из горницы в горницу плавает, склонивши головку набок, и длинным своим платьем шелковым шуршит. Оживится немножко она разве, как гости наедут, говорливые, да веселые, да осудливые. Поднимут на зубки и чепчики разные, и генеральшу московскую, поахают о городе Париже да побранят свой уезд, – тогда и наша барыня головку поднимет и заговорит себе громче... Барин поживее ее был, веселые песенки все певал да насвистывал. Говорили, что не башковат он, ну да зато смирен был. С барынею они жили согласно, и она была барыня добрая. Никого они

не карали, не казнили, они и сердиться-то редко сердились. Приди кто из людей с какой просьбой к ним, – ничего, не выгонят, разве только пускать не велят, коли докучило, или пообещают, да не сделают – забудут. Жили да поживали наши господа довольны да веселы, мирны да спокойны. Вот это сидят, бывало, в гостиной; барин свистит, а барыня глазками по горнице поводит, и вдруг ей в голову пришло: «Мой друг, – говорит барину, – а ведь голубые-то обои были бы лучше в гостиной!» Барин так и вскочит горошком. «Душечка, какая мысль тебе хорошая пришла. Где у меня-то рассудок до сих пор был?» И давай себя по лбу ляскать... «Ну такого дела откладывать нечего, сегодня же в город пошлем, а к воскресенью чтобы все готово было». – «Да, да! – подхватит барыня, – приедут Анна Петровна и Клавдия Ивановна – вот удивятся-то! А уж Анна Федоровна так рассердится, что за обедом ничего есть не станет. Непременно к воскресенью, мой дружок!» И примутся хлопотать, примутся суетиться. В страхе эти дни

живут: все им чудится, что карета во двор въезжает. «Ох, кто-то приехал, кажется», – говорят, а сами в лице меняются. Удивить хотят, видите, и вдруг – если б застали, что стены ободраны! А иных тревог, других забот у них, кажись, и не бывало. Никогда я не видала, чтобы барин наш призадумался, чтобы барыня всплакнула, – нешто безденежье или барышня захворает. А безденежье их часто пристукивало. Любили они оба и жить роскошно, и наряжаться богато. Барыня все шелковые разные платья носила да в тонких кружевах ходила. Барин тоже щеголь великий был: шейный платочек все голубиным крылышком завязывал, да, бывало, иной раз с утра до самого обеда бьется и не сладит. «Вот день-то несчастный выдался, – вздохнет, – никак не слажу!..» И барыня к нему тут на помощь придет, и Арину Ивановну кликнут, да словно к венцу прибирают, – все около него в заботе такой, хлопотах... А уж как вырядится он – таким брындиком выйдет, пред зеркалами останавливается да так приятно на себя поглядывает и

рукой все себя по щеке поглаживает... Это еще все бы не разор был, если б только не меняли они всего до ниточки каждый год по сколько раз. Мало ли на один дом шло? И к рождеству и к святой, бывало, весь обновляют. И как уж весело тогда барин хлопочет! Сам картины прибывает... Ведь чудно покажется, как сказать, а скажу правду: до страсти любил он гвоздики вбивать, и, случись, что по усердию кто ему услужить поспешит, то так огорчится... Потом уж все так и знали, сами не брались никогда, а ему приготовят молоток. И правду тоже надо сказать, что уж никто так гвоздичка не вобьет: так он наловчился, что только глянет – и потрафит, куда надо гвоздику...

Поедут ли в город господа – чего они не накупят! И самоваров навезут, и сушеного горошку, а дома под самоварами в кладовой полки ломаются, горошку садовники на целый год запасают; понавезут они обои штофные, каких-то рыбок горьких в банках, табакерки с музыкой... Разносчики ли наедут – купцы хитрые, зоркие – сколько они денег

оберут! «Не берите, батюшка, – говорят барину, – это очень дорогое, вы вот себе подешевле возьмите». Барина словно подождет: «Подавай мне самое дорогое!» Да и купит такое же самое в тридорога. Еще, бывало, и сдачи не возьмет. И поглядывает на купцов бородатых: вот я вам пустил пыли в глаза! А купцы от радости даже вздыхать почнут... А как именины справляют или рождение! Пойдут тут сборы да приборы такие, – сохрани боже! И вина выписывают, и конфеты выписывают, и шаль, и чепчик барыне, и шейный платочек, и желтые перчатки барину... «Да уж, кстати, будут посылать, – говорят, – то выписать и то, и вот это б выписать», и пятое – десятое... Да так наберется, что на почту телегу надо посылать... Хоть много им утехи на именинах бывало, да много ж и хлопот, и тревог не мало: ведь совсем измучатся, пока отбудут, ходючи да думаячи тяжело: что лучше к обеду подать? да как цветы уставить? да чем генеральшу бы удивить и покойного сна ее лишить? Изморятся, бывало, словно на барщине.

Это [изображение барской жизни] надо причислить к лучшим страницам последней книги Марка Вовчка. В добродушном [тоне рассказчицы нам слышится уже не раздраженный, озлобленный памфлетизм, не страстная борьба, а спокойный, нелицеприятный, торжественный суд истории над самой сущностью, над принципом крепостного права. В] этом рассказе видны нам не только пустота и ничтожество добрых господ, выросших в крепостных понятиях, но ясно просвечивают самые основные причины этой пустоты и ничтожества. Вы видите, что этих людей [забили и] обезличили хуже, чем всякого крепостянина; их лишили сознания своего достоинства и обязанностей, у них отняли всякую возможность серьезно взглянуть на себя, у них вынули душу и заменили ее несколькими условными требованиями и сентенциями житейской цивилизации. Вместо всех велений здравого смысла им с малолетства вбито в голову и срослось с ними понятие, что они должны жить [на чужой счет], сами ничего не делая, что это [их право,] их призвание на земле. Сообразно с этим призванием ведено

было все их воспитание [, все умственное и нравственное развитие]. Оттого они ничему не выучены, ничего не умеют, [ни к чему не склонны особенно,] оттого они не знают, чем наполнить пустоту своего времени, оттого они не умеют даже рассчитать своих расходов, предвидеть свое безденежье, сообразить, что им нужно купить и чего не нужно. [У них не может быть подобного расчета, потому что им сказано: «Ты имеешь то-то и можешь наслаждаться тем-то», но никогда не дано даже и мысли о том, что они собственными трудами должны приобрести право на пользование благами жизни. Мысль о труде, как необходимом условии жизни и основании общественной нравственности, столько же недоступна им, как и мысль об уважении в каждом человеке его естественных, неотъемлемых прав.] Им никогда не придет в голову взглянуть на себя серьезно, задать себе вопрос – зачем они живут на свете и что такое составляют они среди общества, от которого требуют и получают всякого рода блага и услуги. Вот об них-то можно [с полным правом] сказать, что в них нет никакой инициа-

тивы и что жизнь их лишена всякого внутреннего смысла. Сами по себе они – ничто; они живут животной, почти автоматической жизнью, покамест не истощены средства, доставшиеся им по милости судьбы; как скоро этих средств нет, они – несчастнейшие, беспомощнейшие существа. Лишенные всяких ресурсов к обеспечению своего существования, лишенные всякой опоры в себе самих, [не понимая даже того, что значит уважение к самому себе,] они готовы на всевозможные унижения [и пошлости], чтобы только перебиться как-нибудь. Игрушечкины господа, промотавши без толку все свое именье, переезжают на житье к тетеньке, старой [ханже и] скряге, которая каждый день попрекает их [и читает им наставления]. И они принуждены безмолвно [и покорно] сносить ее обращение: им ничего более не остается, как жить у кого-нибудь из милости, предаваясь совершенно капризам того, кто их кормит. Зато у них остается привилегия [дармоедства и] ничего-неделанья...

А между тем ничегонеделанье-то привито к ним искусственно! Естественная ничем и

никогда незаглушаемая потребность деятельности не теряет и над ними своего влияния. Беда только в том, что, по своему [уродливо-му] воспитанию, [ни барин, ни барыня] не только взяться ни за что не умеют, но даже не могут и придумать для себя какой-нибудь дельной работы: так ограничен круг их знаний и стремлений! И приискивают они для себя специальности вроде вбивания гвоздиков да повязывания галстука голубиным крыльшком, и придумывают труды и заботы вроде перемены обоев и мебели... Ведь вот при-страстился же этот господин к вбиванию гвоздиков и сделался весьма искусным масте-ром своего дела: почему же не быть ему ис-кусным плотником, сапожником, обойщи-ком? И конечно, будь бы он иначе воспитан и находишь в других обстоятельствах, – так он бы и нашел какое-нибудь полезное занятие для себя и не был бы таким паразитным су-ществом [, способным только заедать чужой век и чужие труды]. Тогда бы он был и гораз-до самостоятельнее, тверже, независимее, не знал бы этих маленьких, но для него тяжелых огорчений, которые он испытывает при

неудачной повязке галстука или в то время, как в гостиной стены ободраны. Тогда естественно получил бы он склонность и рассчитывать и обдумывать свою жизнь и не впадал бы в такое положение, которое описывает «Игрушечка»: «Пир у господ за пирами, а тут глядь – денег нету. Вот сядут тогда они в гостиной и сидят – приуныли. Один в окошко глядит, другой в другое; «ах-ах-ах-ах», – ахают. А прошла беда, продали или заложили деревеньку, денежки зазвенели опять, и опять обеды званые, гости нахлынули, пир горой, и весело живется и хорошо им» (разумеется, опять до первого безденежья). Ничего нельзя представить глупее такого положения, и только с малолетства к нему приученные в состоянии переварить его. Зато какую же и скуку-то они испытывают: недаром ходят из угла в угол да смотрят вполглаза, точно сонные; недаром убивают время над повязыванием галстука голубиным крылышком. Да и обеды-то и вечера-то они больше затем дают, чтоб чем-нибудь занять и развлечь себя: тоска их одолевает смертная, а помочь не знают чем и даже не думают, что тут [серьезная] по-

мощь нужна...

И у таких-то родителей, в такой жизни хочется развиться живая, пытливая натура девочки, их дочери! Нечего и говорить, что стремления ее не получают удовлетворения, и все попытки остаются совершенно безуспешными. Но история ее развития, так знакомая во многих подробностях каждому из нас, свидетельствует, с одной стороны, – как сильны и незаглушимы в человеке естественные природные требования мысли и сердца, И, с другой стороны, – какое бесчисленное множество препятствий противопоставляется им в барской жизни и нашем [уродливом] воспитании.

Откуда в самом деле у дочери таких родителей, видящей вокруг себя все то, что выше описано, может родиться склонность [к самым радикальным вопросам,] к пытливой, не детски-серьезной думе о жизни и ее условиях? Откуда в ней уважение к требованиям справедливости [, презрение к самоунижению и рабству]? Никто ей не внушает ничего подобного, ничто кругом не располагает к таким мыслям... Но достаточно одного: чтобы

испорченные люди избавили ее от своего надзора и не заботились об ее нравственном воспитании, достаточно этого, чтобы естественные стремления человеческой природы естественно выразились в ней и получили свою силу. Достаточно было самого легкого соприкосновения с бедной девочкой, [с «Игрушечкой», которой она помыкала,] чтобы расшевелить в ней природные требования добра и правды... Но все это ни к чему не могло повести: естественно человеку дышать, но не может же он дышать без воздуха; естественно зерну прозябать, но не взойдет же семя, брошенное на голую каменную плиту; так не разовьется и живой организм человеческий, попавший в среду такого бездушного, автоматического [барского] существования, какое мы видим у игрушечкиных господ. Вот история барышни, большею частью вертящаяся около ее отношений к «Игрушечке».

Барышня увидала на улице в деревне девочку; «дай мне эту девочку!» – Привели ее в барский дом, заставили играть с барышней. На другой день после того господина собирались выезжать в другую вотчину, и девочку надо

было отпустить. Но барышня заупрямилась: «Хочу девочку с собой взять». Так и сяк ее уговаривали, – нет, слушать ничего не хочет, плачет. Делать нечего, барыня велела снарядить девочку в дорогу. Мать ее бедная приходит, с горькими слезами упрашивает: «Отдайте дочку». Барыня отвечает кротко и резонно: «Я бы тебе отдала, да барышня не пускает, – очень ей твоя дочка понравилась; *ты не плачь, пожалуйста: она ведь скоро барышне прискучит, – детям забава ненадолго, – тогда сейчас твою дочку мы перешлем к тебе*». И не подозревая, сколько [людоедства] заключается в этом добродушном ответе, барыня довершает его, говоря своей ключнице и приживалке, Арине Ивановне: «Ах, как жалко мне эту женщину, – просто, я на нее смотреть не могу! Идите, душечка Арина Ивановна, скажите ей что-нибудь, дайте ей вот денег... ну отдайте что-нибудь из моих вещей похуже... только поскорее чтоб она шла себе, чтоб тут не плакала». Видите ли, какое положение [безвыходное]: барыня здесь сама точно на барщине [, точно чиновник, исполняющий свой долг: «по совести, как человек, я вам со-

чувствую, но по точному смыслу законов я должна вас посадить в тюрьму». Так и она:] у ней доброе сердце, она сама мать, ей жалко бедную женщину; но noblesse oblige[4] и помещичье право тоже oblige – против своей воли она должна отнять дочь у матери... А чтоб утешить мать, она хочет дать ей за дочь несколько денег [, как будто не от этой самой женщины и подобных ей получила она свои деньги: дешевое великодушие!...]... И цель этого великодушия – главная та, чтобы избавить себя от зрелища слез и отчаяния матери, чтоб она шла себе, чтоб только тут не плакала...

Барышня, требуя себе Грушу, которую тут же и назвали Игрушечкой, разумеется, и не подозревает всей безнравственности своих требований, потому что она еще не имеет понятия о юридических отношениях, существующих между ею и крестьянской девочкой. Ей просто хочется иметь подругу, и она не отпускает от себя ту, которая ей понравилась. Но в ее положении нельзя безнаказанно иметь никаких требований: окружающая жизнь немедленно обращает самое простое ее желание в [деспотическое] насилие и [бесчеловеч-

ный] произвол. Вот, например, сцена, показывающая нам, как ребенок [развращается] гнуснейшим образом в самом детском возрасте.

Игрушечку любит барышня, и зато терпеть не может Арина Ивановна. Раз приходит в барские хоромы мужичок, с поклоном и гостинцем от матери к Игрушечке; Арина Ивановна не пускает его, он упрашивает, она бранится. Игрушечка, играя с барышней недалеко от девичьей, услышала их спор и зарыдала. Барышня тотчас пристала: «О чем плачешь?» Та сказала. Тогда, несмотря на увещания Арины Ивановны, барышня настоятельно потребовала, чтобы мужичка пустили и гостинец Игрушечке отдали; даже сама дверь растворила мужичку. Поговорила с мужичком девочка, разумеется, припомнила свою мать, родной дом и принялась плакать, рассматривая свой гостинец – две рубашечки, да глиняную уточку, да пряничек медовый. Арина Ивановна принялась насмеяться над рубашечками и хотела их взять да «зашвырнуть куда-нибудь подальше». Но барышня не позволила и Арину Ивановну прогнала из комна-

ты. Между тем Игрушечка все плачет и барышня все подле нее сидит да поглядывает на нее, призадумавшись. Бог весть что она думала; может, приходила к мысли, зачем же это она такое горе делает бедной девочке, разлучая ее с матерью. Но в комнату, переждавши немного, опять входит Арина Ивановна. Происходит следующая сцена (стр. 127).

– Что вы, Зинаида Петровна, так заскучали? – спрашивает барышню Арина Ивановна.

Барышня вздохнула и на меня пальчиком показала...

– Она все плачет по своей маме, она к своей маме хочет.

– Да пусть себе хочет! Чего ж вам-то беспокоиться? Не хотите – не пустим, мой ангел, вы не беспокойтесь!

– А плачет?

– Мало чего нет? Да вы ведь взяли ее себе в забаву, вы ее госпожа, мое сокровище, – что с ней захотите, то и сделаете: плакать прикажете – плачь! прикажете веселиться – веселись!

– А как она не станет?

– Не станет? Да мы ее так проучим, что она у нас шелковая будет!

– Мне жалко Игрушечку...

– Вот то-то и есть, что вы все жалее-те! И проку из нее не будет. Вы не жале-йте!

– Жалко Игрушечку, – твердит барыш-ня, – жалко Игрушечку!

– Говорю, перестаньте жалеть, пере-станет она и плакать, и всю ее блажь как рукой снимет.

Так в самом зародыше подавляются доб-рые и справедливые стремления барышни. У нее есть не только доброта, по которой она жалеет плачущую девочку, но и зачатки ува-жения к человеческим правам и недоверие к [насильственному] праву собственного про-извола: когда ей говорят, что можно заста-вить Игрушечку делать, что угодно, она воз-ражает: «А как она не станет?» В этом возра-жении уже видно инстинктивное проявление сознания о том, что каждый имеет свою волю [и что насилие чужой личности может встре-тить противодействие совершенно законное]. Но все эти зародыши [здравой мысли] тотчас же уничтожаются [рабским] внушением [под-лой] ключницы и приживалки, а главное – са-мое положение барышни очень благоприят-

ствуется заглушению [здравых] тенденций. Между тем как Маша и ей подобные упорно идут дальше и дальше в своих рассуждениях и запросах, однажды проявившихся, Зиночка рада, напротив, усыпить все, что поднимается из глубины ее сознания. Дело понятное для Маши, кроме естественного влечения, и самый интерес жизни состоит в том, чтобы добиться теоретического и практического торжества здравых понятий: ведь искажение человеческого смысла и господство произвола обрушивается на нее [всякого рода] стеснениями [и насилиями]. Барышня находится совершенно в обратном отношении к вопросу. Производя в ней сначала некоторое замешательство и неловкость, как все противное естественным требованиям организма, принцип произвола [и насилия] принимается ею, однако же, довольно легко и скоро проникает в ее существо. Он убивает в ней нравственную жизнь, он ядовит для нее, так же точно, как и для тех, которым приходится страдать от нее; но способ его действия на нее и других чрезвычайно различен: тех он отравляет, как обыкновенный яд, производящий мучитель-

ные конвульсии; на нее он действует, как опиум, дающий ей пленительные призраки [но чрез то самое притупляющий и медленно губящий здравые силы организма]. Трудно отказать от отравы хашиша тому, кто раз допустил себя ею увлечься; еще труднее отказать от [нравственного яда] произвола [и господства], приносящего нам, хотя тоже призрачные, но [для человека, стоящего еще на низших ступенях развития,] весьма привлекательные удобства. Основание уважения к чужим правам заключается, как мы говорили, прежде всего в инстинкте самосохранения, в желании оградить неприкосновенность и своих собственных прав; а если постоянные примеры показывают ребенку, что он может нарушать чужие права безнаказанно, то где ж его слабой мысли найти достаточную опору против соблазна? Первоначальным побуждением к труду служит также естественная необходимость упражнять свои силы, и [следовательно,] охота трудиться должна находиться в прямой пропорции с количеством сил человека, которое опять зависит во многом от упражнения. Поэтому естественно, что

пока сил мало, то и охота к труду слаба, и ежели никаких других побуждений к работе нет, то ребенок очень охотно привыкает лениться, отчего силы его, оставаясь без упражнения, так и не получают надлежащего развития. Это мы видим не только в физическом, но и в нравственном развитии: при начале ученья дети очень неохотно принимаются за всякий урок, где им нужно много соображать и добиваться толку; они предпочитают, чтоб им все было растолковано и чтоб, с их стороны, требовалось только пассивное восприятие. Многие родители и заботятся об этом: целую толпу учителей, гувернеров и репетиторов приглашают, чтобы разжевать и положить в рот их детям всякое знание; зато такие дети и остаются на весь век обезьянами, иногда очень учеными и вообще понятливыми, но неспособными возвыситься до самобытной человеческой мысли.

И не одними материальными удобствами способствует положение барышни искажению ее мысли и чувства; неестественное само в себе положение это вызывает такие [уродливые] факты, которые еще более сбивают ее

с толку. Возьмем для примера хоть продолжение той же сцены Зиночки с Игрушечкою.

Выслушавши советы Арины Ивановны, барышня приступает к девочке с приказанием, чтоб та веселилась, причем Арина Ивановна покатывается со смеху.

– Веселись, Игрушечка, – приказывает барышня, – веселись и маму свою сейчас забудь. Слышишь, что я тебе приказываю? Ну, забыла свою маму?

– Нет, – говорю, – не забыла!

Арина Ивановна ко мне:

– Да ты смеешь ли так отвечать барышне, а? что? Ах ты, грубиянка! Велят тебе смеяться – сейчас у меня смейся!

Смеюсь я перед ней, слезы, свои горькие глотаючи.

– Ну, вот видите, мой ангел, она и смеется, – утешает барышню Арина Ивановна. А барышня глядит на меня такими-то пытливыми глазенками.

– Игрушечка, – говорит, – как же ты и плачешь и смеешься? А я вот не стала б.

– И, голубчик, равняетесь с кем! – ей на то Арина Ивановна. – Ей что прика-

жут, то она и может.

– Вот, Игрушечка, ты какая! – проговорила барышня. – Вот какая!.. (стр. 128).

Советы и уверения Арины Ивановны, как видите, подтверждаются фактами, которые производят на Зиночку неприятное, но неотразимое впечатление. Она *пробует* себя и Игрушечку, приказывая ей веселиться, она еще все не доверяет, чтобы подобные истязания над подобным же ей человеком могли быть действительны. И что же? Бедный ребенок, запуганный и беспомощный, поддается; это озадачивает и даже как будто огорчает барышню: она чувствует, что тут что-то неладно. «Я бы этого не сделала», – говорит она, переходя отсюда к мысли, что и Игрушечка, как такой же человек, не должна была бы этого делать. Но тут сейчас готово объяснение, что Игрушечка вовсе не «такой же человек», а холопка, которая «что ей прикажут, то и может»... Факт налицо: отчего же и не поверить такому объяснению, тем более что оно усыпляет инстинктивное беспокойство [барышни на этот счет, снимает с нее нравственную от-

ветственность и льстит ее тщеславию,] поднимает Зиночку на степень существа высшего, по праву могущего распоряжаться волею и личностью других людей!.. Таким образом, мысль о своем родстве со всеми людьми [и о полноправности каждого человека], мысль о солидарности человеческих отношений быстро заглушается в ней при самом зарождении. Остается только на первых порах какое-то обидное сожаление, как будто разочарование в надеждах на друга: «Вот, Игрушечка, ты какая!» – восклицает барышня в первую минуту. Но потом и это проходит: она сама, уж без подстреканий Арины Ивановны, начинает впоследствии стращать Игрушечку: «Не скучай; ты знаешь, – я все с тобой могу сделать: я ведь тебя баловать не буду» и пр....

Такие сцены, повторяясь каждый день и каждый час, способны убить [всякий] здравый смысл [и человеческое чувство] прежде, нежели они успеют проявиться. Так и бывает со многими. Но Зиночка, как мы сказали, оставлена родителями на произвол судьбы в обществе Игрушечки, и никто, кроме Арины Ивановны, не внушает ей барской теории.

Это спасает ее нравственные силы и дает им возможность развиться хоть до степени пытливого и упорного желания и искания, если не настоящей самодеятельности. Некоторые вопросы преследуют ее очень серьезно: ей все хочется знать, отчего и как? Она спрашивает Игрушечку о ее прежней жизни, о деревенских работах; та рассказывает. «После этих рассказов, – говорит Игрушечка, – случилось, что так меня обнимает она крепко, да и говорит мне: «Игрушечка, я б сама не дошла, как все это делается. Кто ж у вас додумался, Игрушечка?» – «Я не знаю, – говорю ей, – кто додумался, а все у нас умеют». – «Может, твоя мама, Игрушечка?» – «Может», – говорю». Тем, разумеется, и ограничивались объяснения с Игрушечкой, да это еще было лучшее, что барышня могла слышать. С отцом и матерью дело уже вовсе не шло на лад. Раз, например, Игрушечка расплакалась, услышавши, что продано ее родное село и, стало быть, она уж туда больше не вернется. Барышня потолковала с ней, посмотрела на нее, да и задумалась... «Как, – говорит, – это все на свете делается?» – «Да что?» – спрашивает Игрушечка.

«Да как же, – говорит Зиночка, – ты заметишь ли, что, когда одни плачут, другие смеются; одни говорят одно, а другие опять совсем другое. Вот ты плачешь, что Тростино продали, а мама и папа всегда в радости, когда деньги получают». И вдруг, в тревоге, она бросается к Игрушечке: «Да нельзя разве, чтоб все веселы были? Нельзя, Игрушечка?» – «Видно, нельзя», – говорит. «Отчего ж?» – «Да не бывает так, – говорит та: – Вот ведь и мы с вами, все мы вместе, а мысли у нас разные приходят». – «Да отчего ж так? Отчего?» На этом разговоре застаёт девочек Арина Ивановна и допрашивает, о чем так горячо рассуждают. Но барышня уже не доверяет ей и не хочет сказывать; тогда Арина Ивановна напускается на Игрушечку, делает тревогу и докладывает господам, что Игрушечка барышню пугает и в слезы вводит. Те приходят и начинают допрос. Эта сцена тоже очень характерна и показывает, какое участие в воспитании дочери принимают добрые господа, не лишенные, впрочем, привычек образованного общества. Мать спрашивает:

– Зиночка, что такое было? О чем ты

с Изрушечкой говорила? Поди ближе и скажи маме.

– Говорили, что одни люди плачут, а другие люди веселы...

– Что, дружочек?

Удивилась очень барыня, и барин во все глаза глядит; а барышня опять:

– Что одни люди смеются, а другие в слезах.

Барыня с барином переглянулись, и оба на барышню посмотрели.

– Ну, скажи, мама, – заговорила барышня, – скажи мне, отчего это так на свете?

Вскочила она к барыне на колени, обнимает и прижимается к ней, и в глаза ей глядит – ждет слова от нее заветного, а барыня ей в ответ:

– Умные дети, мой дружочек, никогда не плачут.

– А бывает же скучно, мама, и умным, бывает чего-то больно, будто и скучно...

А барыня:

– Умные дети, дружочек мой, всегда веселы.

– Ах, боже мой, какая ты, мама! Ну, глупые скучают, плачут – разве уж

тебе их совсем и не жалко?

– Глупых детей наказывают, Зиночка, – отозвался барин, взявши себя за подбородок, – и они сейчас умнеют.

– Да, Зиночка у нас умница, – говорит барыня, – она никогда у нас не скучает, никогда не плачет. Это какой-то мужичок иногда приходит, под окном у нее плачет, а Зиночка умница.

Поднялись и пошли себе. Выходя, говорит барыня Арине Ивановне:

– Вы напугали меня, Арина Ивановна; я думала – бог знает что такое, а вышло пустяки такие, что даже и понять-то трудно.

Тем и покончилась история; барышня только вздохнула тяжело, и слезы у нее к глазам подступили...

В таких-то условиях томится живая душа, жаждущая знания, правды, порывающаяся разрешить себе загадку жизни. Когда она подросла немножко, ей и гувернанток выписывали: одна была тихая, добрая, но педантическая в своем деле и вовсе неумелая немочка; она все делала по пунктам и никак не хотела удовлетворить любознательность ученицы,

любившей забегать и вперед и в сторону. Не сошлись они, и, видя, что дело нейдет на лад, немочка сама просила, чтоб ее отпустили. Приехала на ее место вертлявая француженка; та принялась болтать и рассказывать и сначала совершенно околдовала Зиночку и прибрала к рукам весь дом. Но и француженка не удовлетворила пытлившую девочку: ей надо было знать корень и причину всего, надо было серьезно разобрать и понять каждую вещь, а у Матильды Яковлевны все было, разумеется, легко, мило, поверхностно и – пусто. Через несколько времени барышня сама это заметила, охладела к француженке, перестала ее и спрашивать, а все сама задумывалась. Арина Ивановна приписывала ее скуку тому, что мамзель ее ученьем замучила; но Зиночка отвечала печально: «Да я ничего не знаю и ничему не выучилась, – как же замучила?» И стала она все больше и больше задумываться, да и кончила тем, что на пятнадцатом году стала умом мешаться. Грустное и тихое было ее помешательство, – все она задумывалась да плакала, особенно когда видела чужие слезы. Игрушечка хотела утешать ее:

«Полноте, – говорит, – со всеми плакать не станет вас». – «Игрушечка, – отвечала помещанная, – когда плачет человек, ты знаешь ли, как ему больно? А я знаю! Я знаю, как больно!» Вскоре в этом помешательстве она и умерла.

Мы нарочно остановились на некоторых чертах характера и развития этой девушки, чтобы яснее указать разницу условий, от которых зависит направление мысли и воли – в образованном обществе и в простых классах. Каждый согласится, что в нашем воспитании, даже самом лучшем, очень мало серьезности, мало пищи для пытливого ума, гораздо больше ненужных и непонятных формальностей и отвлеченностей, нежели ответов на живые вопросы о мире и людях, весьма рано возникающие в детской душе. Следовательно, все мы, считающие себя образованными, подвергались более или менее той нравственной порче и тому медленному умерщвлению сил духа, которое [так ярко] рисуется нам в сценах Зиночки с Ариной Ивановной и с [милыми] родителями. К этому прибавим еще, что внешнее положение [весьма многих] людей в

так называемом образованном обществе совершенно схоже с положением Зиночки: нет надобности самому трудиться, есть возможность распоряжаться другими и употреблять их для своих капризов [, есть повод считать себя чем-то высшим, чем эта масса людей, как будто созданных только для службы нам]. Все это чрезвычайно деморализирует и расслабляет человека, и вот где истинная причина той общей вялости, мелочности и пустоты, на которую [так много и так давно] жалуются серьезные люди в нашем образованном обществе. Решимся выговорить слово правды: целые поколения жили и прожили [у нас], не сделав ничего путного и показав только, что они негодны к настоящему делу, потому именно, что в их понятиях и привычках всегда бродила закваска крепостных воззрений и вся жизнь их слагалась, с самого начала, под влиянием крепостного устройства. [Пригнетая и сдавливая одних внешним образом, оно в то же время еще решительнее, внутренне и существенно, губило и тех самых, которые хотели жить угнетением других. Оно их расслабило, опошло, развратило, обезду-

шило и сделало гораздо жалче, гораздо ничтожнее и негоднее тех, которых они эксплуатировали своим произволом... Хорошо, что теперь уже прекратилась возможность такой эксплуатации; а то бог знает, до чего бы она довела и ту, и другую сторону...]

После смерти барышни еще продолжается грустная история Игрушечки, но мы уже не будем на ней останавливаться, – Игрушечка так и осталась до конца жизни игрушечкою судьбы и добрых господ своих. Хотела было она хорошо, счастливо пристроиться: полюбился ей Андрей, барский столяр, и она ему понравилась. Да пришли они просить барского разрешения на свадьбу в то время, как господа последнюю свою вотчину, и Андрея с Игрушечкою в том числе, продали. Приход их только напомнил барыне, что ей жалко расстаться с Игрушечкой, и она принялась упрашивать нового владельца, чтоб он уступил ей эту девушку. Тот согласился. Игрушечка заикнулась было, что любит Андрея, но барыня жалостливо возразила: «Ах, ах, Игрушечка! Не стыдно ли тебе, и ты могла бы меня оставить? Ах, как же можно! боже мой! Все нас

покидает!» И заплакала. Повели ее под руки в карету, посадили; и Игрушечку втокнули тоже, и помчались они... Андрей только издали смотрел на это, бледный как смерть. Новый барин его был очень крут, не как прежние господа. Через два месяца Игрушечка узнала, что в селе их «несчастье случилось... Шесть человек на поселенье пошло... Андрей шестым»... (стр. 171). Так исчезла ее последняя надежда на счастье, на возможность быть наконец чем-то побольше «игрушечки».

В «Игрушечке» видим мы лицо совершенно пассивное: постоянно тоскливое, грустное расположение – вот ее единственный протест [на свою несчастную судьбу.] И не мудрено: вспомним, что она оторвана от своих, выхвачена насильно из простой народной жизни и брошена [в этот тихий омут,] где ее держат для забавы, [насильно заставляют веселиться и] беспрестанно запугивают и придавливают. Простоте и свежести первых лет жизни, первых впечатлений детства надо приписать еще и то, что она в этой обстановке не сделалась [подлой и] льстивой [холопкой, доносчицей и] смутьянкой [, подобной тем «благород-

ным» приживалкам, тип которых находим мы в Василисе Перегриновне в «Воспитаннице» Островского].

Но в самой покорности несчастных, вынужденных покориться поневоле, мы видим часто гораздо более решимости и энергии, нежели в суетливых исканиях и метаниях из стороны в сторону, в которых так часто изживают у нас целый век даже очень хорошие люди. Для дополнения параллели, которую мы проводили выше, мы укажем теперь на коротенький рассказ Марка Вовчка «Саша».

История простая: Саша привезена из деревни в горничные к барыне; барынин племянник соблазнил ее да потом так привязался к ней, что хотел на ней жениться. Как только он о женитьбе заикнулся, Саше сейчас косы обрезали и заперли ее в темную... Он ходил, плакал, клянчил, бился как рыба об лед, наконец выпросил Саше свободу, поклявшись, что не будет пытаться жениться на ней. И пошло все своим чередом, только Саше так горько было, что все опостылело; и она вымолила у господ позволения в монастырь идти, где и умерла вскоре. А он – «и до сей по-

ры ходит на ее могилу и все молится там». Жениться не захотел; всегда ходит печальный такой: «Нет, – говорит, – никто уж меня не повеселит так, как моя Саша покойница! Бог судья дяденьке и тетеньке!..»

Из остова рассказа уже видно отчасти, какая разница между двумя этими людьми. Но вот несколько частных черт, еще яснее рисующих оба характера.

Саша отдалась молодому человеку вполне, беззаветно; она исчезла в нем, заключила все чувства и стремления в любви к нему. Когда узнали об их любви и стали над ней издеваться, она говорила: «Что ж, люди смеются, пускай себе! Я люблю его, я его! Что ж мне о себе думать-то? Думай он. Хорошо ему – весело, что смеются – смейтесь; а обидно ему покажется – сам он знает, что сделать. А я послушаюсь его слова, его приказу». Это рассуждение как нельзя более сообразно с положением Саши и показывает в ней очень умный взгляд на свои отношения к молодому барину. Полюбивши ее и воспользовавшись ее расположением, он делался естественно ее заступником, покровителем, связывался с нею

единством интересов, и он первый должен был бы понимать это, если бы был человек, здраво и честно развитый. Саша считала его таким и понимала за него то, до чего он еще не сумел возвыситься с своим образованием. Он был человек добрый и честный в душе, хотя и легкомысленный; он очень полюбил Сашу и сам признался ей: «Я ведь тебя обмануть собирался, Саша, обмануть хотел и потом бросить, – ты прости меня! Не бросил – сил не было, потому что полюбил крепко». И он, точно, не бросил ее: до конца жизни любил и по смерти любил. Но его воспитание и положение были таковы, что не давали ему никакой возможности серьезно вникнуть в свои обязанности и поступить так, как предписывало и требование честности, и даже его собственное сердце. Саша покорна своей судьбе; что же ей в самом деле предпринять можно в ее положении? Она тут ни при чем; у ней нет ни силы, ни воли; *он* должен все устроить, и будь бы у него сердце и смысл Саши – он бы не призадумался над ничтожными препятствиями, представлявшимися ему, и не стал бы потом плакаться на дяденьку и тетеньку. Но в

том-то и дело, что *такой* смысл, *такой* характер не даются людям его положения. Саша порабощена внешним образом, и снимите с нее этот гнет, – она способна подняться до каких угодно нравственных и умственных высот. А любимый ею юноша лишен внутренне всякой самостоятельности, всякой опоры в себе самом и порабощен всем существом своим забавным ничтожностям, которые так ценятся в свете. Он жалуется, что отец с детства забил и запугал его; но отец отцом, а главное-то все-таки в том, что ему не хочется потерять некоторых преимуществ своего положения, хотя и ничтожных, но уже привычных ему и льстящих его тщеславию. Он настолько образован, что понимает отчасти их ничтожность, но понимает лишь теоретически, холодным соображением, без участия сердца. Оттого-то он и для борьбы не находит в себе сил, да и покориться-то не может с достоинством и твердостью. Вот, например, разговор его с Сашей: «Скажи, Саша, скажи, что делать? – спрашивает он ее в тоске. – Мучусь я, и голова кругом идет... Ох, Саша, если б можно мне было жениться на тебе». – «Женись», – говорит Саша

очень просто, понимая, что тут никакой невозможности нет. «А люди-то что скажут? – возражает он. – Подумай-ка, Саша, как люди-то напустятся, – дядя, жена его злая еще пуще, – все, все родные! Заключают они нас, Саша! Умер бы я теперь с радостью». И заплакал. А Саша опять говорит ему простой ответ: «Ну, *умрем, коли хочешь*». Она на все готова; по ней, если с ним нельзя жить, то и умереть ничем... Но он поплакал, поплакал и решил: «Нет, – говорит, – *грех умереть от своей руки* [(благочестие тут напало!)]; лучше я женьюсь на тебе, Саша, – *будь что будет*». И храбро прибавляет: «Что мне они? чего мне их бояться?..» И точно, ему от них даже наследства получать не приходится, а между тем он выговаривает свое решение, точно геройский подвиг совершает, и придает ему несравненно больше значения, чем Саша своей готовности умереть, высказанной ею совершенно искренне и с прямою решимостью исполнить ее на деле. И чем же разрешается его героизм? тем, что он просит у тетеньки с дяденькой позволения жениться на Саше, с приговором, что ведь «все мы равны перед богом, те-

тенька», а потом слезливо смотрит, как барыня тут же, при нем, его возлюбленной косы обрезывает... Тут и поняла его Саша, и когда он потом пришел к ней в ее чуланчик, она «не обрадовалась и не опечалилась при виде его, а так будто скучнее ей стало». В другой раз собрался он как-то к тетеньке с требованием, и так бодро пошел; подруга Саши обрадовалась и испугалась, а Саша говорит ей: «Ах, милая, сядь да утишись: не из тучи гром... Пошел он к господам, – и храбр он, пока идет; а лицом к лицу станет, руки у него опустятся – оробеет. Я знаю его; поверь моему слову». И точно, так и вышло: храбрость героя нашего кончилась тем, что он обещал тетке оставить мысль о женитьбе на Саше... Зато Саше свободу дали; подруга ее опять стала выражать надежду, что «может после...». Но Саша уже совершенно осмотрелась в своем положении и поняла его во всех частях. Вот что она отвечает: «Попусту не надейся; он пуглив больно. Не всякую ведь любовь в люди показать хочется, милая! Как не цветно наряжена, не красно убрана, то дома, в уголке, под лавку хоронят: «Сиди, любовь, утешай меня, а в лю-

ди не выходит; осудят люди и хозяина пристыдят». И на возражение подруги, что «он ведь любит ее», она прибавляет: «Ах, себя-то самого еще больше любит, скажу тебе». В другой раз, когда подруга советует ей: «Да прямо скажи ему, научи его», – Саша отвечает: «На целый век не научишь, голубушка. Эта грамотка не дается ученьем». И, таким образом, понявши, что ей нечего ждать и надеяться, Саша, точно, недолго ждала: пошла в монастырь, да и там не много прожила: исчезло то, что ее привязывало к жизни, исчезли и ее жизненные силы... А *он* ничего – живет, и все к ней на могилку ходит... [И зачем шляется?..]

Подобное же явление, но несколько с другой развязкой с мужской стороны, раскрывается перед нами в рассказе «Надёжа». Вникнув в этот рассказ, мы еще яснее понимаем ту разницу, которая отличает чувства и поступки простого человека от чувств и поступков людей, [развращенных] неестественным своим воспитанием и положением. Общее расслабление, болезненность, неспособность к сосредоточенной и глубокой страсти характеризует если не всех, то большинство

наших «цивилизованных» собратий. Оттого-то они и мечутся беспрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего им нужно и чего им жалко. Желают они так, что жить без того не могут, и все-таки ничего не делают для осуществления своих желаний; страдают они так, что умереть лучше, – а живут себе, ничего, только меланхолический вид принимают. Не то у простого человека: он или неглижирует, внимания не обращает на предмет и уже не толкует о своих желаниях; или уж, если привяжется, если решится, то привяжется и решится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствия не страшат его, когда их нужно одолеть для достижения страстно-желанного и глубоко-задуманного. Если же нельзя достигнуть, простой человек не останется сложа руки: по малой мере, он изменит все свое положение, весь образ своей жизни, убежит, в солдаты наймется, в монастырь пойдет; часто он просто, естественным образом не переживает неудачи в достижении цели, которая уже проникла все существо его и сделалась ему необходима для жизни; если же физиче-

ское сложение его слишком крепко и может вынести больше, нежели сколько нужно для крайнего раздражения нервов и фантазии, – он не церемонится покончить с собою насильственным образом. И это тоже служит для нас свидетельством, как для простого, здорового человека, раз почувствовавшего свою личность [и ее права], несносна жизнь бесплодная, бесполезная, автоматическая, [без принципов и стремлений], без смысла и правды, жизнь, подобная той, какую проводят, например, игрушечкины господа и многие другие в том же роде.

В «Надёже» мы видим девушку, полюбившую крестьянского парня и ожидающую, что он к ней посватается. Тут то же положение: над ней смеются, ей колют глаза ее женихом, потому что завидуют ей девушки: жених ее Иван лучше всех парней на селе, – она сносит все и ждет, пока он порешит дело. А он поехал в другое село, там у него приятель завелся, фабричный, – подпоили там его, сосватали, да и женили на родне этого фабричного. Воротился он к себе в село, очнулся, увидел, что наделал, да уж поздно было. Тут начина-

ются страдания бедной Надёжи, которую на смех поднимают многие, а пуще всех жена Ивана, баба бойкая и бесстыжая. Горько Надёже: и любовь ее была сильна, так что ей тошно жить без милого, да и натура у ней нежная, деликатная, что называется, – так что попреки и насмешки глубоко язвят ее и заставляют тяжело страдать. Ивану тоже нелегко; он горячо любит Надёжу, да и совесть его неспокойна, – чувствует он, что виноват перед бедной девушкой, что загубил ее век. Оба страдают, но страдают внутренне, сосредоточенно, молча: ни она никому не пожаловалась, ни он никому слова не сказал, и между собой они ничего не говорили, да и виделись только издали. Раз он хотел остановить ее и высказать свое горе, но она от него убежала; он издали следил за ней, а сам иссох, пожелтел, изменился весь. Наконец не выдержал он, зашел раз в избу к Надёжиной тетке, горько заплакал перед Надёжей, а она только и могла сказать ему: «Ты забудь, что я на свете живу, не томи, не мучь меня, желанный!..» Тут вломилась вдруг в избу жена Ивана, следившая за мужем, началась горячая пере-

бранка; Надёжа бросилась вон из избы... Вечер был холодный, дождливый; она, сама не своя, простояла, прижавшись у плетня, пока тетка выпроводила ссорившихся и отыскала ее. Этого вечера было довольно, чтобы окончательно ее сгубить. Слегла она в этот же вечер и больше не встала. Иван, как безумный, ходил в это время; перед смертью Надёжи, когда она уж лежала без памяти, прибежал он к ней, посмотрел, поплакал, да потом и сам слег. «В четверг схоронили Надёжу, а в среду на другой неделе и Ивана на погост отнесли»...

Рассказ этот более, нежели какой-нибудь другой из рассказов Марка Вовчка, можно заподозрить в идеализации: мы так привыкли смотреть на крестьянина как на существо грубое, недоступное *тонким* ощущениям любви, нежности, совестливости и т. п. Но едва ли мы можем вполне доверять нашим наблюдениям на этот счет; чувства простолюдина немногоречивы вообще, а мы так привыкли к красноречию, что легко можем не заметить самого сильного чувства, если оно не украшено риторикой. Притом же простолю-

дин перед нами постарается затаить даже и то небольшое, что перед своим братом он бы и мог высказать. Судить нам о нежных чувствах крестьян по их поведению перед нами – будет столько же основательно, как судить о кротости и сострадательности воинов по их действиям во время сражения. Мы, [к несчастью], должны признать справедливость наблюдения, – давно, впрочем, сделавшегося общим местом, – что [мундир и] сюртук не внушают особенного доверия крестьянам.

Но, сколько можно судить по некоторым частным случаям и по отрицательным признакам, мы готовы утверждать, что такого рода нежные, деликатные натуры существуют и в простом классе, по крайней мере в той же мере, как в других сословиях. Надо заметить, что подобные натуры вообще встречаются реже, чем нам кажется. Мы часто восхищаемся нежною прелестью девицы, плачущей о смерти собачки и приходящей в восторг от искусства какого-нибудь художника, вроде павловского Штраусса. Но ведь не в этом состоит истинная нежность и деликатность души. Не в бесплодных сожалениях и восторгах надо ис-

кать ее, а в действительной чуткости души к страданиям и радостям других. Прежде чем рассудок успеет определить образ поведения, требуемый в известном случае, человек деликатный, по первому внушению сердца, уже старается расположить свои действия так, чтобы они принесли как можно более добра и удовольствия для других или по крайней мере чтобы никому не причинили неприятностей. Сущность деликатного характера состоит в том, что ему в тысячу раз легче самому перенести какое-нибудь неудобство, даже несчастье, нежели заставлять других переносить его. Если он потеряет вашу вещь, он продаст последнее, останется без гроша сам, но во что бы то ни стало постарается вознаградить вас за потерю. Если он дал вам денег взаймы и видит, что вы нуждаетесь, он сам будет переносить нужду, но не спросит своего долга. Если он сам занял, он не успокоится, пока не расквитается с вами. Главная его мысль, главная забота – о том, чтобы не стеснить кого-нибудь, не быть кому-нибудь в тягость. И точно, может быть, такой человек не доставит вам особенного удовольствия (и да-

же наверное не доставит, если вы его к тому не вызовете), но зато и никакой неприятности он вам не сделает. Он постоянно и чутко смотрит, не помешал ли он вам, не скучно ли вам с ним, не стесняетесь ли вы его присутствием или обращением с вами и т. п. В нормальном своем положении, то есть в соединении с энергией характера и с правильно развитым сознанием своего достоинства, такая деликатность составляет одно из высших достоинств человека. В ней соединяются тогда и честность, и справедливость, и деятельное участие в судьбе ближнего... Но, вследствие ложного направления воспитания, [и вообще извращенного общественного устройства,] врожденная деликатность нежных натур большею частью принимает неправильное развитие. Известно, что у нас в воспитании господствует начало [слепого] авторитета, способное убить деятельную силу в самых энергических и гордых натурах. Но если те еще способны к борьбе и нередко выбиваются из-под нравственного гнета, налагаемого на них, то натуры нежные и тонкие всегда склоняются под этим гнетом и очень редко в со-

стоянии бывают подняться. Они обыкновенно бывают богато одарены от природы: чуткая восприимчивость очень рано обогащает их множеством разнообразных наблюдений и, таким образом, облегчает им широкое развитие рассудка и воображения и дает пищу для сердечных стремлений. Но ничего нет легче, как *забить* такие натуры: для них упрек хуже, чем строгое наказание для другого, насмешка тяжелее, чем для другого брань; неудачная и строго осужденная попытка повергает их в уныние и заставляет опустить руки. Им можно с детства натвердить, что они глупы, – и они не станут рассуждать при других. И не то, чтоб они поверили в свою глупость, нет: они убеждены в глубине души, что они умнее многих, даже, может быть, всех окружающих, но природная деликатность не позволяет им высказывать при других суждений, которые могут показаться и кажутся глупыми. «Что же за охота людям слушать то, что им представляется глупым», – думают они и хранят свои мысли при себе. Позже, вышедши на практическую деятельность, волей-неволей показавши себя, попавши в

другой круг, в котором замечают уже не пренебрежение, а уважение к себе, они все-таки не могут освободиться из-под влияния прежних впечатлений и остаются молчаливы, скромны и переносливы гораздо более, чем бы им следовало. Рассудок заставляет их знать себе цену, но он редко бывает в силах победить их закоренелое недоверие к себе, во многих случаях превращающееся в чистое малодушие. У них нет предприимчивости, потому что они постоянно опасаются взяться за что-нибудь выше своих сил; они сторонятся от управления всяким делом, боясь, чтобы своим влиянием не стеснить других; они не хотят даже правильно оценить результатов своей деятельности, из опасения поставить себя слишком высоко и заслонить чью-нибудь чужую заслугу. Таким образом, они постоянно в борьбе и противоречии с собственным рассудком, вечно недовольны собой, вечно страдают от самоосуждения и нередко действительно отказываются от роли, в которой могли бы быть полезнее всякого другого. Нужно уже слишком сильно возбудить в них страсть к чему-нибудь, чтобы вызвать их на

энергическую, рискованную деятельность, в которой нужно доставлять не только удовольствие, но и неприятности другим и идти наперекор многому. И надо прибавить, однако, что и самая страстность у подобных людей принимает обыкновенно оттенок некоторой робости: далекая от порывистости, страсть имеет у них хронический, продолжительный, но тихий, сдержанный характер. Для дела это бывает даже хорошо, но для них и тут мало радости: они все боятся компрометировать и себя и свое дело, и сделаться смешными, сожалеют о недостатке энергии в себе, сокрушаются о своей апатичности и т. п. Спокойное рассуждение доказывает им, что у них и энергия есть, и страстности достаточно, и что апатия далека от них; но – спокойный рассудок гораздо менее имеет на них влияния, нежели они сами думают. Недоверие к себе, проникшее в их натуру, заставляет их не доверять и рассудку, а чуткая, болезненная восприимчивость берет свое. Таким образом, неблагоприятные обстоятельства могут весьма несчастно направить врожденную нежность и деликатность души: они могут ли-

шить ее энергии и привести к отчаянию в самом себе. Обратимся же теперь к крестьянскому миру: кто не согласится, что там разве в виде редкого исключения могут встретиться обстоятельства, которые бы лелеяли правильное и полное развитие нежной, доброй природы! Напротив, вся обстановка жизни там ведет к тому, чтобы натура твердая огрубела и ожесточилась, а слабая, нежная – запугалась, сжалась и пропала в покорном отчаянии. Так зачастую и бывает, и вот где, нам кажется, можно найти объяснение двух противоположных мнений о русском народе, одного – что он зверь дикий, а другого – что он [скотина] безгласная. И к тому и к другому может приближаться не один русский мужик, а всякий человек, какого бы то ни было сословия и народа. Полный гармонии чувств, так называемых в психологии – симпатических и эгоистических, то есть полного и неразрывного слияния самопожертвования с самосохранением, мы еще не достигли в человеческих обществах. Поэтому везде встречаются два разряда натур: одни с преобладанием эгоизма, стремящегося наложить свое

влияние на других, а другие с избытком преданности, побуждающим отречься от своих интересов в пользу других. При несчастном развитии натуры первого рода делаются враждебными всему, что не их, забывают все права и становятся способными ко всевозможным насилиям; а натуры последнего разряда теряют всякое уважение к своему человеческому достоинству и допускают других помыкать собою [делаясь действительно чем-то вроде укрощенного домашнего животного]... К несчастью, надо признаться, что обе крайности в крестьянском нашем сословии выказываются несравненно ярче, нежели в других классах общества. Но обратилось ли это в природу простолюдина? Точно ли можно верить, что [вкус к рабству,] привычка возить кого-нибудь на своих плечах и быть погоняемым – сделались второю натурою мужика? И точно ли надо, с другой стороны, серьезно опасаться, что [те] мужики [которые жаждут свободы, непременно распорядятся с нею зверски,] принявшись буйствовать, как только их предоставят самим себе? Мы не думаем, именно потому, что, при всех искаже-

ниях крестьянского развития, мы видим в народных массах наших много того, что мы называли «деликатностью». [Мы знаем, что это слово многим покажется очень странным в применении к крестьянству, но мы не умеем найти лучшего выражения. Смирение, покорность, терпение, самопожертвование и прочие свойства, воспеваемые в нашем народе профессором Шевыревым, Тertiем Филипповым и другими славянофилами того же закала, составляют жалкое и безобразное искажение этого прекрасного свойства деликатности. Но, произведенное насильственно, это искажение и поддерживается постоянно искусственными комбинациями разного рода. А как скоро жизнь получит свой естественный ход, тогда и внутренние свойства человека скоро примут свое прямое направление.] Зверства человек не станет показывать, если его к тому не вынудят, — это уж всякому понятно: нынче уж перестали верить даже и в то, что змея стремится непременно ужалить человека без всякой причины, просто по ненависти к человеческому роду; тем менее верят в существование подобных мифиче-

ски-змеиных натур между людьми. [Точно так же нельзя верить и существованию овец, которые бы за честь считали попасть на зубы к льву, или людей, от природы имеющих наклонность к тому, чтобы их таскали за нос и плевали им в физиономию. Если мы видим, что множество людей позволяют подвергать себя подобным экспериментам, то поверьте, что это делается не иначе, как по необходимости. С этой стороны, значит, бояться нечего: искаженная, убитая и обращенная во вред простолюдину «деликатность» его примет свое естественное направление при первой возможности.]

Но и в теперешнем [искаженном] состоянии крестьянского быта и мысли мы видим следы живого, хорошего направления этой деликатности. Сюда причисляем мы прежде всего сознание, о котором мы говорили выше и которое в простом классе несравненно развитее, нежели в других сословиях, [обеспеченных постоянным доходом,] – сознание, что надо жить своим трудом и не дармоедствовать. Известно, что «мироед» на всей Руси составляет одно из самых позорных назва-

ний, а этим именем величают не только какого-нибудь старосту, земского или сотского, но и всякого мужика, разжиревшего на мирской счет. В крестьянском сословии почти невообразим тот разряд людей, к которому принадлежит такое множество прекрасных, образованных, молодых и старых господ в больших городах, – господ, многие годы очень недурно проживающих «на шарамыжку», без всяких определенных средств и с вечными, тоже неопределенными, долгами. Между крестьянами сохраняется обыкновенно очень верный и умный взгляд на людей, вышедших из среды их и наживших себе большое состояние разными темными путями. Нам самим случалось говорить с мужиками, помнившими карьеру некоторых известных богачей, вышедших из простонародья; не только преклонения пред богатством, так обыкновенного между нашими просвещенными и «учеными» людьми, мы не заметили здесь, но даже встретили очень суровое суждение о средствах необычайного обогащения миллионеров, о которых шла речь. Из слов крестьянина видно было, что он очень хорошо понимает

эти средства, но что душа его отвращается от них и что ежели бы ему даже представился случай ими воспользоваться, то он не решился бы. Говорят, наши мужики лукавы и при случае надуют вас самым мошенническим образом, чтобы зашибить себе лишнюю копейку. Да, бывает и это, хотя не так часто, как рассказывают, и притом более в городах и придорожных или торговых селах [имеющих много случаев позаимствоваться моралью от высших классов общества]. Но надо заметить, во-первых, что нужда чего не заставит делать; а во-вторых, что обман и надувательство крестьяне позволяют себе по большей части относительно других классов общества, с которыми они не только не чувствуют [никакого] родства и солидарности, но даже, напротив, — находят себя вправе быть недоверчивыми и враждебными. С своим же братом, в своем обществе, они, по общим отзывам, бывают очень честны. И это не удивительно: с одной стороны — надобность трудиться для своего обеспечения понимается простыми людьми гораздо живее и осуществляется легче, нежели в высших классах обще-

ства, которых члены наделяются достаточным запасом материальных удобств еще прежде своего рождения; об этом мы говорили много, разбирая рассказ «Маша». С другой стороны, уважение к личности и правам других и, вследствие того, внимательность к общему мнению также [гораздо] сильнее в людях простых [, нежели в тех, кто поставлен судьбою в положение, более благоприятное для лени и капризов]. Каким образом в людях высшего разряда развивается пренебрежение к чужим правам и на место всякого закона ставится вздорный, самолюбивый произвол, это мы видели в воспитании барышни, описанной нам «Игрушечкою». Что делается у них из общественного мнения, показывает нам барин, отказывающийся жениться на Саше, из опасения – «что скажут?»... Основание этого опасения, конечно, может быть выведено из доброго источника – уважения к общественному мнению; присутствие того же начала мы видим, например, и в Надёже. Но, всматриваясь ближе в тот и другой случай, мы находим между ними большую разницу. Скажем здесь [об этой разнице] несколько

слов, чтобы еще дополнить сделанную уже нами прежде параллель между простолюдинами и людьми «образованными» в нашем обществе.

Наше [образованное] общество, как известно, не имеет себе подобного в безразличности, с которой оно смотрит на общественную мораль. Люди, заведомо негодные, уличенные, осужденные, принимаются у нас в [хорошем] обществе, как будто бы за ними ничего дурного сроду не бывало. Являясь в дом к человеку, известному своей честностью, вы никак не можете быть поэтому уверены, что не встретитесь у него с людьми, очень и очень нечистыми. В других землях, даже не пользующихся особенной славой гражданского героизма, бывали примеры, что люди, уличенные, например, в казнокрадстве, видели вдруг, что с ними вместе никто обедать не хочет, а другие, при одном подозрении их в таком же деле, приходили в такое волнение, что лишали себя жизни. У нас нет надобности в такой крутой мере [, и невозможно ожидать подобных манифестаций]: общественное сознание нейдет дальше сплетен. На каком вам

угодно балу или [великосветском] вечере, за званым обедом, в каком хотите собрании, где довольно много публики, разговоритесь с первым попавшимся на глаза болтуном о других господах, которые будут подвертываться вам на глаза: боже мой, сколько грязных историй, [отвратительных анекдотов,] безобразных сцен передадут вам чуть не о половине присутствующих!.. Этот вышел в люди наущничеством [и шпионством], тот залез в казенный сундук, тот находится на содержании у такой-то старухи, чрез которую и сделал карьеру; один занимался контрабандой, [другой сводничеством,] третий обирал крестьян, четвертый – отъявленный взяточник, пятый – шулер... Болтун вам, может быть, и прибавит, и переверт многое: но замечательно, что все собравшееся общество не раз уже слышало подобных болтунов, знает все, что говорят о каждом из присутствующих, и нимало не заботится даже о том, чтобы хоть удостовериться в справедливости или ложности слухов. «Говорят, что он наворовал все, что теперь имеет; да и точно, откуда бы вдруг взяться без того его богатству? Но, впрочем, что нам за

дело? Обеды у него хорошие; князь такой-то и генерал такой-то к нему ходят, и по службе он хорошо идет; стало быть, и нам не стать пред ним спесивиться [и гнушаться его знакомством]». Так нередко рассуждают у нас и жмут руку негодьям, которых в душе готовы презирать [, да не смеют]. Мы не хотим пускаться здесь в разбор причин такого состояния [образованного нашего] общества, представляя себе рассмотреть это при другом случае. Здесь же отметим только факт, что общественный суд о нравственном достоинстве людей, если и существует у нас, то лишь в виде сплетен и разговоров, ничего не значащих для практики; вся же строгость общественного мнения обращена на принятые формы и приличия. Несоблюдение их карается беспощадно; с людьми «неприличными» не знакомятся; людей, не умеющих держать себя, не пускают в порядочное общество, – разве если они уж очень богаты... Таким образом, забота о всякого рода щепетильностях наполняет всю нашу жизнь, определяет все наши действия, от повязки галстука и часа обеда, от подбора мягких слов в разговоре и ловкого

поклона – до выбора себе рода занятий, предмета дружбы и любви, развития в себе тех и других вкусов и наклонностей. Не сущность дела, а лишь принятая и условленная форма обращает на себя общее внимание. А чем обуславливается принятая форма, по чему судят о ее достоинстве? [По тому, на сколько в ней выражается барство в дурном его смысле, то есть с произволом и тунеядством.] Неприлично быть актером – не потому, что это пустое занятие, а потому, что актер, видите ли, наемник, за деньги выделывающий всякие штуки перед публикой, то есть человек, все-таки хоть каким-нибудь трудом достающий себе хлеб. Это уж не годится: порядочный человек должен не нуждаться в труде для поддержки своего существования: он должен быть белоручкою [и бездельником], а труд – это плебейское дело... [Не так лестно служить в армии, как в гвардии. Почему? Не потому, чтобы в гвардии представлялось более возможности принести пользу службе, а всего более потому, что там форма лучше и что гвардейская экипировка и содержание, будучи гораздо дороже, с первого же взгляда обличают чело-

века, который может тратить много денег. Неприлично шутить с прислугой, – не из опасения, чтобы своею шуткою случайно не оскорбить человека, который, по своему положению, не может ответить на нее обратно, а напротив, из боязни, чтобы на наши шутки слуга и сам не вздумал ответить шуткою и, таким образом, не стал бы с нами запанибрата...] Нельзя жениться на простой девушке – не потому, чтобы она не могла удовлетворить стремлениям образованного человека и понять его интересы, а просто потому, что она наших приемов не знает и манерами и разговором будет нас компрометировать. Вот к чему сводится вся боязнь барина, который не смеет жениться на Саше, хотя он любит ее, находит в ней полное удовлетворение и не может не видеть, что она умнее и чище его самого и, может быть, всех его родных [и знакомых], которых мнения он боится...

Не тот характер имеет страх общественно-го суда в простом быту. Есть, правда, и там свои привычки, которые всем следует соблюдать; но и несоблюдение их не восстанавливает всего общества против виновного. Молодой

парень может, например, брить себе бороду, нуждающийся бедняк может в воскресенье, вместо храма божия, отправиться работать на свою полосу, – это не вызовет преследований со стороны односельцев. Зато действительные нравственные грехи судятся очень строго, и если общее мнение не имеет часто серьезных практических последствий, так это от [решительной] невозможности привести в действие общее желание. При въезде в деревню ваш ямщик встречается с мужичонкой, которого он не преминет обругать и которому вслед пошлет еще несколько недобрых слов, называя его, между прочим, Ванькою-вором. Вы спрашиваете, что это значит, и ямщик объясняет вам похождения Ваньки, из которых видно, что он действительно вор всесветный и отъявленный. «Так зачем же вы его у себя держите и даете ему шляться на воле?» – «Да что же нам с ним делать-то? – возражает крестьянин. – В солдаты сдать его хотели – не годится, дескать, не приняли... Колотили сколько раз – нейметса... Что ж тут будешь делать? Ведь не судиться же с ним». – «А отчего ж бы и не судиться?» – «Э!» – с досадой крик-

нет ямщик в ответ и только рукой махнет, не желая слов тратить. [Из его восклицания и жеста поймите его положение и сообразите, сколько ему надо нравственной чистоты и твердости, чтобы не развратиться вконец под влиянием тяготеющих над ним обстоятельств разного рода.] Не мудрено, что и в крестьянском быту общее мнение часто бывает нелепо, иногда нечестно по неискренности, иногда совсем скрыто по малодушию. Против всего этого мы не думаем спорить; мы даже готовы прибавить, что во всех случаях, где нужно собирать голоса и по ним узнавать общее мнение, в крестьянском сословии, вследствие его непривычки вести собственные дела по своему собственному желанию, оказывается гораздо больше бестолковщины, чем где-либо. Но мы утверждаем одно: что там более внимательности к достоинству человека, менее безразличия к тому, каков мой сосед и каким я кажусь моему соседу. Забота о *доброй славе* там встречается чаще, чем в других сословиях, и в виде более нормальном. [Известно, что естественная потребность заслужить доброе расположение людей перехо-

дит нередко в болезненное искание репутации, для которой нередко и совершаются всевозможные гадости. Но это именно бывает у людей «образованного» общества, которые, обогащаясь всякого рода познаниями, открывают для себя множество целей и путей, но, чтобы достигнуть этих целей, не имеют достаточно сил, да и насчет пути-то оказываются очень ленивы... Видя, что существенно-го-то не могут достигнуть, они начинают гоняться за видимостью: «Пусть, дескать, я не богат, да другие будут говорить, что богат – все приятнее». Такое искание репутации в простом языке называется просто надувательством и шелыганством, и стремления к доброй славе никак нельзя с ним смешивать. Это последнее есть прямое последствие благожелательства к людям и уважения к их личности. В своем крайнем развитии оно переходит опять в излишнюю угодливость, робость, боязнь собственного мнения, – и это мы нередко видим в наших крестьянах, которых вообще все обстоятельства жизни так и ведут к пресловутому *смиреномудрию* славянофилов. Но, во всяком случае, по своему основа-

нию и существенным свойствам,] эта чуткость народа к общественному мнению [, к доброй славе] служит одним из доказательств способности его к высокому [гражданскому] развитию [, на началах живых и справедливых].

Мы отделились от рассказа о «Надёже», по поводу которого заговорили о деликатности, об уважении к личности другого и о доброй славе, как выражении того, довольны или недовольны нами наши ближние. Но мы опять приходим именно к этому рассказу и в нем хотим показать разницу воззрений на то, что постыдно и что не постыдно в простом и в так называемом цивилизованном обществе. Надёжа страдает от намеков и насмешек подруг. Надёжа считает себя обесславленную; а между тем, как видно из рассказа, Иван не соблазнил ее, не сделал ей того, что на житейском языке нашем называется «бесчестьем» девушки. Страдает и Иван, и все действующие лица этой истории признают его глубоко виновным, хотя он и не воспользовался любовью девушки. Отчего ж они оба страдают и сокрушаются? Чего им стыдно и тяжело? По

нашим житейским понятиям, он ничем не обязан перед ней, она ничем не осрамила себя перед ним и перед людьми, потому что не дала ему ничего сделать над собою неприличного... Да, но понятия простых людей не таковы. Мы знаем, что насчет физической чистоты они не очень даже и заботятся, и мы говорим поэтому, что деревенские нравы очень развратны. Пожалуй, смотрите на это, как хотите, но согласитесь, что в отчаянии Надёжи и Ивана нравственная сторона дела понята гораздо выше и чище, нежели в наших житейских суждениях и привычках. Надёжа знает, что она хоть и сохранила свое физическое целомудрие, но поругана в самых святых, самых задушевных своих чувствах; он тоже знает, что нарушил внутренний мир девушки, отравил ее душевное спокойствие и осквернил святыню ее сердца уже тем, что привлек на ее тайну нескромное и насмешливое внимание посторонних людей. Припомним же и сравним с этой тонкостью и гуманностью чувства грубость какого-нибудь Андрея Колосова, которого гуманные друзья его считают еще лучшим из многих!.. И точно, он

лучше других: ведь другие-то поступают, больше частью, как князь Н., описанный в «Лишнем человеке»...{16}

Но отчего же Надёжа стыдится своего чувства, если оно так чисто? Да она и не то чтобы стыдилась, а ей просто чего-то неловко. Она живет как будто под влиянием той мысли, что на нее все подруги сердятся за предпочтение, оказанное ей Иваном, думают, что она его завлекла, и потом насмеются над нею за неудачу... Болезненное развитие ее тонкой и нежной организации делает ее слишком робкою и подозрительною: она сама себя считает отверженной обществом. Притом же в ней действительно страдает ее достоинство: она вдруг очутилась в положении человека, которому ни с того ни с сего дали в обществе пощечину. Конечно, если рассудить хладнокровно, так это само по себе вздор: при обсуждении нравственного достоинства человека надо смотреть на то, заслуживал ли он быть битым; а там – бит ли он был в действительности или нет, – это уже другой вопрос, вопрос силы, а не права. Но спрашиваем: много ли в образованном обществе найдется людей,

которые могли бы возвыситься над фактом пощечины и не сконфузиться – не только если самим придется незаслуженно получить ее, но даже если случится быть хоть свидетелями при подобном казусе?..

Здравостью и основательностью общественного мнения едва ли какое-нибудь состояние в общем составе своем может особенно похвалиться. Не могут ими похвалиться и простолюдины: тот же рассказ «Надёжа», рисуя нам отношения к ней подруг ее, показывает нам всю грубость и ошибочность их суждений. Это обстоятельство не осталось для нас незамеченным, и мы не намерены его оправдывать, хотя и должны оговорить, что подобного рода ложные и невежественные понятия гораздо простительнее крестьянам, нежели другим, высшим классам общества, имеющим претензию на образованность. Мы уже говорили выше о том, как много препятствий в своем развитии встречает крестьянин и как много внутренней силы нужно ему иметь для того, чтобы уберечься от полного подавления в себе здравого смысла и чистой совести. И при этом-то положении все еще

мы видим здесь существование таких натур, в которых хоть слабо и неровно, но неугасимо горят живые человеческие инстинкты, так что оскорбление и неудовлетворение их влечет за собою смерть самого организма. Такие лица, как Надёжа, с первого взгляда представляющиеся исключительными, оказываются, при внимательном рассмотрении обстоятельств и характера, вовсе не так редкими в крестьянском сословии, как мы привыкли думать. Повторяем, если не чаще, чем в среде благовоспитанных юношей и барышень, то по крайней мере столько же часто встречаются деликатные натуры, подобные Надёже, и в простонародье. Да ещё это пассивная сторона, пассивная роль подобных натур. Сама по себе Надёжа прекрасная личность; но ее надо похлопотать и лелеять, и от нее за то дожидаться нежности и ласки. А чуть на нее невзгода, она и сожмется вся, и спрячется самое себя, и ничего, кроме горьких слез, от нее не добьешься... Бывают в простонародье натуры столько же нежные и благожелательные, но поэнергичнее, подеятельнее. Такие натуры тоже не покажутся совсем непонятными тому, для ко-

го не совсем чуждо изучение нашего просто-народья. Одну из таких личностей видим мы в «Катерине» Марка Вовчка. Катерина тоже очень чутка к насмешкам, упрекам и даже простым шуткам, имеющим самый невинный характер. Еще маленькой девочкой привезла ее барыня из Малороссии в великорусскую деревню: здесь показали странными – и ее язык, и рубашка вышитая, и взгляд томный и задумчивый... Стали ее тормозить девочки и смеяться над ней. Само собою разумеется, что у маленькой девочки не могло быть твердого разумного сознания о смысле и достоинстве всего, что она делает; она не могла, подобно философу какому-нибудь, продолжать делать свое, презирая крики толпы; она должна была принимать к сердцу выходки подруг. Если б она была сварлива, она стала бы со всеми ссориться и защищать себя силою; но ее деликатность, инстинктивное уважение к себе и к другим не допускали ее до этого. Потому она просто переставала делать то, что другим казалось странным или смешным. Осмеяли раз ее рукавчики шитые на рубашке – она больше ни разу не надела своей

вышитой рубашки. Подкараулили ее раз у курганчика, к которому она одна уходила, и подслушали малорусскую песню, которую она там пела, да стали приставать к ней и расспрашивать – она перестала ходить к кургану и никогда больше не пела той песни... Но, вместе с этой чуткостью ко всякому внешнему впечатлению, Катерина обладала внутренней силою, которая непременно требовала себе исхода, непременно должна была выразиться в какой-нибудь деятельности. Долго обстоятельства жизни шли наперекор стремлениям Катерины: ее увезли с собой господ в другую вотчину, незнакомую; ее выдали замуж за человека, которого она не могла любить. Она никому не пожаловалась на свою судьбу, слова не сказала о своем житье-бытье, никого не допустила даже пожалеть ее в глаза, и с мужем не ссорилась, а «только опустит глаза и неподвижная такая станет, строгая и суровая перед ним»... Хотелось ей найти себе какое-нибудь дело в жизни, да не находилось такого дела. Выучилась она петь хорошо, так что душа рвалась и томилась от ее песен. На все свадьбы ее первую приглашали, и она пе-

ла там грустные песни и душу отводила себе. Да не довольно ей было этого: тяжело ей было до того, что она было пить приучилась. Раз ей сказала подружка: «Катерина, голубушка! не пей много: тут чужие люди есть – осудят тебя; лучше ты спой нам!» Тогда она ответила вот что: «Ах вы, люди безжалостные! Все вам пойдя пойдя, – отдохнуть не дадите! Дайте отдохнуть, дайте выпить вина забывчивого!» Горько, видно, казалось ей жить на свете без дела, без пользы. Так бы, может, и загубила она свою душу, да, к счастью, отыскалось ей дело: прослышала она про знахарку в околотке и решилась выучиться у ней лечить болезни; она же с малолетства имела страсть рассматривать да узнавать всякие цветы и травы. Вот как рассказывает сама знахарка о приходе к ней Катерины (стр. 57).

Приходит ко мне, спрашивает: «Как мне на свете жить?» А сама во все глаза глядит на меня, – перепугала. «Живи, касатка, как люди», – говорю. «Нет, скажи, как мне жить, мне!» – «Сядь-ко, говорю, да перекрестись, да молитву прочитай: на тебя наущен-

но». Она села, перекрестилась и заплакала. А тут у меня травы висят по стенам и на окне на солнышке сушились. «На что тебе травы столько?» – спрашивает. «Людям помогаю». – «Помоги же и мне, родная!» – «Да что у тебя болит-то? скажи». «Душа моя болит!» – проговорила тихо, а у самой слезы потекли. «А голова не болит?» – «И голова болит, и вся я больна!» Вот я ей травку даю; она поклонилась и пошла. Я было вздремнула, слышу – опять стучатся, опять она. «Что тебе?» – «Научи меня, родная, какими ты зельями лечишь?» Я рассердилась и гоню ее, а она уж так-то плачет, разливается. «Не научишь, то убей меня тут! Все равно я пропаду... Я вот, говорит, уж сколько маялась на свете – все пусто да пусто, никого не радую, и ничто меня не веселит, и дела у меня нет душевного никакого». Я думаю – дурет она, а жалко мне ее. Я там и показала ей кое-что, больше для утехи ее. «Где ж, думаю, ей запомнить!» А она ведь запомнила все. Начала, слышу, уж сама лечить: досадно мне и обидно было, что она у меня кусок хлеба отбива-

ет. Раз она пришла, и полны руки трав. Я ее неласково встречаю, а она словно не видит. «Знаешь эти травы, бабушка?» – «Не знаю, говорю, да и знать не хочу». – «Нет, говорит, ты возьми. Я тебе это принесла. Полезные травы, целующие!» – «Ты на чем их испробовала-то, что ручаешься?» – «Да на себе, бабушка». – «Как на себе?» – «А так, говорит, ведь я прежде-то всегда сама поью; не свалит – тогда и людям даю». Удивила она меня, ей-богу! А говорит-то ведь так, что сердце ей верит... И вот с той поры она мне травы-то всякие носит. Спасибо ей, не обидела меня за мою науку.

И как только нашла себе Катерина «дело душевное», тотчас она и пить бросила, и ласковая такая стала, приветная. Сама за себя она стала спокойна, только чужая печаль все крушила ее и не давала ей покою. У всякого больного расспрашивала она прежде, нет ли у него печали какой. Одна больная сказала ей: «Что рассказывать-то? Чужая беда никому не разумна». – «Уж мне ли не разумна! – ответила Катерина: – мне ли не горька! Нету на

свете белом, нету мне чужой печали, – всё моя печаль. Пожила бы ты с мое – узнала бы!» Больная удивилась и, вспомнив про мужа Катерины, которого та не хотела утешить и полюбить, как он ни любил ее, проговорила в виде возражения: «А муж-то твой?» Катерина не рассердилась, а только подумала немного и сказала: «И его печаль – моя печаль, да не мое дело помочь ему!.. Не своей волей за беду я ему стала; а у него воля была неразумная». Как ярко высказывается в этих простых словах сознательная, самобытная энергия характера Катерины!.. Она далеко выше, например, Игрушечки или Саши: она не даст распоряжаться своей душою, не предастся тому, с кем связала ее судьба против воли; она хочет всех любить, всех видеть счастливыми, но она ищет свободного простора для своей деятельности и любви. Если ее приведут насильно и скажут: «Осчастливь вот этого, а не того», – вся натура ее возмутится против такого насилия и при всей ее любвеобильности у ней не останется сил для выполнения приказа. Мягкость и нежность ее натуры призывают ее посвятить себя на пользу ближних; но от

этого вольного служения далеко до отречения от своей личности, до допущения себя сделаться игрушкой чужого произвола. Нет, в ней сознание своего достоинства, своей самостоятельности настолько же сильно, как и сознание кровного родства ее с людьми и взаимной обязанности людей поддерживать друг друга в общих трудах и заботах жизни. [Только благоприятных обстоятельств развития да более обширного круга деятельности недостает ей для того, чтобы занять высокое место в ряду лучших деятелей, которых память сохраняется в истории и в преданиях народных.] Редко встречаются лица, до такой степени чисто сохранившиеся от двух противоположных крайностей – от доведения благодушия до потери собственной свободы и от эгоистического возвышения собственной личности до забвения прав других. Но надо заметить, что редки они не в одном простонародии; во всех классах общества мы видим, к сожалению, что если в человеке преобладает доброта, то уж она до того доходит, что им все помыкают, а если в нем самолюбие сильно, то он над другими озорничает, сколько мо-

жет. При таком ходе дел мы нередко еще удивляемся нравственным качествам иных людей за то только, что они не столько подличают или не столько вольничают над другими, сколько могли бы по своему положению. Так, мы восхваляем доброго помещика, берущего не слишком обременительный оброк с крестьян, честного откупщика, у которого в откупе продается сносная водка, [чиновника, хотя и кривящего душою по приказу начальства, но умеющего держать себя не слишком по-лакейски,] и пр. и пр. Принужденные иметь такую мерку для оценки нравственного достоинства людей среди нашего общества, мы должны быть очень довольны, когда видим хоть возможность появления в крестьянском сословии таких личностей, как Катерина. Если бы из таких людей состояло большинство, то, конечно, история, не только наша, но и всего человечества, имела бы совсем иной характер. Нам важно уж и то, что под грудю [всякой дряни,] нанесенной с разных сторон на наше простонародье, мы в нем еще находим довольно жизненной силы, чтобы хранить и заставлять пробиваться наружу

добрые человеческие инстинкты и здравые требования мысли. Часто эти обнаружения природных сил бывают слабы, едва приметны, часто замирают, едва пробившись на свет божий; редко сохраняются они так упорно против всех невзгод, как мы видели в Маше и Катерине. Но и то уже много, если мы заметим хоть в слабой степени присутствие в народе тех начал, которые так ярко выражались в этих двух женщинах. А что мы их заметим, если будем внимательно и с любовью наблюдать быт простонародья, – за это можно смело ручаться. Затем уж не трудно нам будетобразить, отчего развитие этих начал в народе по большей части останавливается так рано и нередко совсем заглушается; не хитро также будет понять и то, в какой степени сам простолудин бывает виновен в неполноте или совершенной остановке своего развития и в какой степени виноваты в этом мы все, причисляющие себя к людям образованным. Удостоивши же подумать об этом, мы должны прийти к вопросу о том: что нам делать, чтобы устранить по возможности все, что [так страшно] мешает развитию хороших ка-

честв народа?

Вопроса этого мы не станем решать здесь; решение его несравненно легче вывести, нежели [понятным образом] написать [в русской книге: длинная и трудная может из этой выйти история!]. Но мы можем здесь еще раз обратить внимание читателей на мысль, развитие которой составляет главную задачу этой статьи, — мысль о том, что народ способен ко всевозможным возвышенным чувствам и поступкам наравне с людьми всякого другого сословия [, если еще не больше,] и что следует строго различать в нем последствия внешнего гнета от его внутренних и естественных стремлений, которые совсем не заглохли, как многие думают. Кто серьезно проникнется этой мыслью, тот почувствует в себе более доверия к народу, больше охоты сблизиться с ним, в полной надежде, что он поймет, в чем заключается его благо, и не откажется от него по лени или малодушию. С таким доверием к силам народа и с надеждою на его добрые расположения можно действовать на него прямо и непосредственно [, чтобы вызвать на живое дело крепкие, свежие

силы и предохранить их от того искажения, которому они так часто подвергаются при настоящем порядке вещей.

Искажение это доставляет много страданий несчастным, но служит, большею частью, к выгоде тех, кто поставлен выше их, кто владеет ими]. Но [не надо забывать, что бывает оборот и в противную сторону:] не все натуры мягкие и податливые, как Саша или Надёжа, не все твердые и благоразумные, как Катерина, не все отрицательно-упорные против зла, как Маша; – встречаются и другие, суровые и беспощадные натуры, в которых внутренняя реакция всякому посягательству на их личность развивается до размеров поистине сокрушительных и получает наступательный характер. Нас заставил подумать об этом обстоятельстве (которого, впрочем, упускать из виду ни в каком случае не следует) характер Ефима в рассказе Марка Вовчка «Купеческая дочка». Мы ничего еще не говорили об этом рассказе; обратимся же кстати к нему и закончим нашу статью, растянувшуюся так невероятно и неожиданно для нас самих.

Ефим – мужик, кучер барский, высокий бо-

родач, смуглый, румяный; глаза у него так и сверкают, лицо такое удалое, гордое, улыбка веселая да насмешливая. Барыня его горничную наняла, купеческую дочку бедную, Анну Акимовну. С первого раза понравилась ему она и с первого же раза обидела: прошла мимо его – не взглянула, на первый вопрос его едва слово молвила. Задела она его за живое своей спесью, и пошел он ее неотступно преследовать, решившись во что бы то ни стало смирить ее, овладеть ею. Множество делал он ей всяческих маленьких неприятностей; ссорились они постоянно и между тем все больше друг другом интересовались. Прошел год; дворня замечает, что у Анны Акимовны разговор все как-то на Ефима сводится. «Вот Ефим поехал лошадей ковать; Ефим песни хорошо поет; вот Ефиму бы жениться, и на ком это ему бог приведет?» – так рассуждают дворовые при Анне Акимовне, а она сама ничего, только слушает да старается похитрее на эту речь навести. Догадался про ее хитрость поваренок Миша и пересказал Ефиму; заметила Анна Акимовна, что Ефим что-то знает, и вышла у них ссора нешуточная; Анна Акимовна

попрекнула Ефима мужичеством.

– Зазнался, зазнался ты очень, – накинулась на него Анна Акимовна. – Вот уж посади за стол... забыл, кто ты такой... Что за вельможа?.. Что ты о себе думаешь?

Ефим стал перед нею, головой покачивает: – Ты-то от каких князей род ведешь?

– Да как ты смеешь равняться-то? Бессовестный ты такой! Мой батюшка купец был, свою торговлю вел...

– Да-с, да-с! Нам небезызвестно-с! Ну, что вы, купцы? Ведь один обман от вас только. Я вот хоть бы вчера платок купил; божилось лихое твое племя; износу нет, – а вот посмотри-ко, – весь светится!

И покойно так рассказывает, платок разворачивает; а она-то дрожит, вся бледная.

– Я барыне жаловаться буду! – крикнула. – Ты не смей издеваться, мужик бестолковый.

– Постой, постой, – заговорил Ефим, словно изумился.

– Да – мужик бестолковый! – кричит Анна Акимовна.

Ефима словно кто против шерсти повел; кудрями он тряхнул и бороду погладил.

– Погоди, погоди! – начал он, сдерживая свой голос звучный. – Говоришь ты: мужик... Ну, признаюсь тебе сам, точно я мужик. И из деревни я недавно – тоже признаюсь. Жил я, пахал, сеял, кормился сам, и продавал, и с людьми чисто поступал, дружно жил. Я нраву веселого. А ты купеческая дочка, Анна Акимовна, чем ты взяла? Что из себя-то ты взглядна? Это сущий пустяк. Первое дело – душа, нрав. Ты задорна, строптива вольно...

– Как смеешь? – запищала она.

А он свое:

– Лет ты хоть не молодых, а уважения тебе ни от кого нету... Как ты себе ни величайся, как ни кичись, – идут люди, а сами и не спросят: что это за Анна Акимовна на свете живет?.. Мой-то батюшка землю пахал, и всяк скажет: «Добрый мужичок был покойник!» А твой, хоть и в лисьих шубах ходил, да слава-то нехороша.

Размолвились они шибко и говорить друг с другом перестали, только за столом один

другому все шпильки разные подпускают. А между тем оба похудели, побледнели, оба задумываются и пригорюниваются, когда одни. Наконец Ефим пошел решительно. Раз, после долгих насмешек Анны Акимовны над мужиками и мужицкими привычками, Ефим выговорил: «Эх, матушка Анна Акимовна! А я, мужик, ведь за вас посвататься хотел. Что? – думаю, – девушка она хоть нетолковая, хоть вздорная, ерошливая, да за обозом сбредет». Она вспыхнула и вздрогнула; а он продолжал: «Полноте, матушка, не извольте гневаться: нездоровье приключится. Опаски насчет сватовства не имейте. Пришла было дурь в голову и прошла. Всяк сверчок знай свой шесток. Мы себе ровню по-высмотрим». И точно, Ефим стал почти каждый день уходить со двора, принарядившись; приходил с песнею, и весь повеселел. Анна Акимовна притихла; ждет, что будет. Раз вечером приходит Ефим и объявляет в людской, что хочет идти к барыне – позволенья просить жениться; потом обращается к купеческой дочке: «Уж вы, Анна Акимовна, старого гнева не помните, не обидьте мою суженую. Девочка славная!» Ан-

на Акимовна побелела вся, и губы у ней задрожали. Побелела вся и вышла. Спряталась в уголку на лестнице и принялась горько плакать; долго плакала и к ужину не пришла... Как сказали об этом Ефиму, он прямо к ней бросился, обнял ее крепко и целовать стал... Она так и ахнула, глянула на него, узнала, да так и обвилась руками около его шеи, а сама плачет-плачет...

*Он ее на руках вынес из того уголка.
Она вырываться, – не пускает; поставил против месяца-света.*

– Ага, купеческая дочка, Анна Акимовна! – промолвил, – теперь ты моя!

И так вымолвил, словно он врага своего лютого полонил; и у самого слезы две скатились, и такая усмешка злобная! Страшно и чудно на него смотреть тогда было.

Женились они. С первого же дня свадьбы Ефим начал чудить над женою, смирать ее. Попросил он ее, чтобы на девичник и на свадьбу позвала своих знакомых и родню дальнюю – купчих; она позвала. Ефим никого от себя на девичник не пригласил, и Анна Аки-

мовна была очень рада; она очень боялась убогих гостей, – чуть дверь отворится, она в лице изменится, но никто не пришел из убогих, купчихи одни сидели и орехи щелкали. Зато на другой день только что из-под венца, в дверях уже молодые были встречены с хлебом-солью мужичонком в лаптишках и в зипунишке ветхоньком. Отворили дверь – вся изба полна мужиками в лаптях. Анна Акимовна зашаталась и могла только прошептать: «Злодей!» Купчихи попятились назад, надулись; Ефим попросил их не спесивиться, погулять на свадьбе; они от него к стене отвернулись; тогда Ефим им и двери настезь... Анна Акимовна так была убита, что на другой же день захворала серьезно. Ефим затужил, закручинился, целые ночи над нею просиживал и все глядел на нее; но и тут был суров с нею, и только раз нежными словами упрашивал ее, чтоб лечилась. Она только отвернулась. После того он стал еще суровее; а когда она выздоровела, то житья ей не давал, – все за прежнюю гордость отплачивал. «Утерjali, – говорит, – вы, Анна Акимовна, свое-то княжество за мною! Вот ведь маху-то дали, – просто

беда!» Она все молчит, а он все смотрит на нее, как на своего врага жестокого, да приговаривает иной раз с усмешкою: «Жгуча крапива родится, да уварится!» Она сохла и чахла от его попреков; да ему и самому нелегко было жить так: постарел он, сморщился, веселость свою потерял, усмешка стала у него язвительная, да слова такие едкие и злобные... Недолго выдержала Анна Акимовна; умерла она осенью, тихо, без мучений. Ефима не было дома в это время: услан был куда-то барынею. Как воротился, увидел ее на столе – стал тут, ни слова не сказавши, и «простоял целую ночь, не шевельнулся, не вздохнул. Наутро пошел, гроб купил, к священнику зашел, попросил, и могилу вырыл ей сам. Сзывал на похороны. Совсем спокоен человек был, кажись, а все чего-то страшно было; все сердце недоброе чуяло, вещало...» И точно, вышло недоброе.

Отнесли на погост Анну Акимовну и в сырую землю схоронили. Заходили с кладбища люди; поминальный обед был, и Ефим сам распоряжался. Как разошлись все, он лошадей на водопой

повел и говорит Мише:

– Миша, слушай да помни! Коли я пропаду, все мое добро отказываю женинной тетке; пусть ей все отдадут. Слышал?

Перепугался до смерти Миша.

– Слышу, – говорит.

– Ну, помни!.. – И поскакал.

Вбежал Миша в людскую, дрожит всем телом.

– Ефим хочет рук<и> на себя наложить!

Всполошил всех: побежали к водопою. Все лошади под горою к раките привязаны, а Ефима нет нигде... Окликать, искать, и нашли его шапку около колодца, старого, заброшенного... А в колодце том давно еще девочка утонула, – и дна в нем не было. Около этого самого колодца шапку его нашли, скликали людей с баграми и с крюками да с говором шумным Ефима мертвого выволокли (стр. 113).

Нет сомнения, что в Ефиме всякий признает черты чисто русского характера, и притом характера, не сглаженного образованностью, то есть обычного именно в простонародье.

Это дуrolомство, эта неспособность к мирному забвению и прощению, эта бессмысленная охота неотступно и бесконечно пилить человека попреками, в то же время чувствуя к нему сильную привязанность, – это все такие черты, какие любят приписывать русскому человеку и сонм его порицателей, и партия его quasi-защитников. Последние видят здесь, конечно, величие духа, находят прототипы подобных характеров в Иване Грозном и Петре Великом и даже иногда, для параллели, тревожат суровые добродетели спартанцев и древних римлян. Мы признаемся, что почтенные защитники русского народа хватают немножко далеко. Восхищаться таким характером, как у Ефима, довольно трудно для человека, не лишенного сердца. Но одного нельзя отнять у него – силы; одного нельзя не признать, что опасно шутить с этой силой.

Посмотрите, в самом деле, каким страшным мщением отплатил он за оскорбление своего самолюбия Анне Акимовне! И какой фатальный, неотразимый характер имеет его мщение! Если б он просто задумал и холодно исполнил свой план – довести девушку до за-

мужества с ним, – это была бы жалкая интрига, свидетельствующая только о черствости и злости его. Но тут дело шло не так: он сам полюбил ее, оттого-то он и обиделся так глубоко ее пренебрежением; добиваясь ее любви, он удовлетворял скорее потребности сердца, нежели голосу мести; он не мог хотеть загубить ее, – доказательство в том, что он не перенес ее гибели. Но какая-то сила подталкивает его на беспрестанные и жестокие оскорбления ее. Сила эта дика, неразумна, губительна для него самого; но он не силен преодолеть ее влечение, потому что враждебные обстоятельства не дали в нем достаточно развиться гуманным и разумным требованиям природы. Победа над гордой женщиной доставила ему двойное наслаждение – и удовлетворение самолюбия, и достижение взаимности, которой он добивался. Но злоба его была сильнее любви: он был столько горд и самонадеян, что не мог слишком дорого ценить полученную взаимность женщины; а оскорбления, ею нанесенные, запали глубоко в его сердце, и он не мог забыть и простить их. Никакой покорностью, никаким пожертвованием нельзя бы-

ло умилоствити его; ему самому было тяжело, его гнала какая-то тоска, он становился все мрачнее, по мере того как исполнял свое мщение над любимой женой; но остановиться не мог. В нем проснулось какое-то ненасытное, бесконечное желание унижать ее, вымещать над ней свою тоску и свое терпение, надругаться над нею, как будто в намерении восстановить таким образом свои собственные попранные права, свое достоинство, которое видел униженным и презренным. Все его поведение объясняется тем общим законом реакции, по которому крайность вызывает всегда другую крайность. Много лет прожил Ефим, не думая о своем [человеческом] достоинстве и вынося, по своему положению, множество унижительных условий. Но представился случай, где его достоинство особенно больно было поражено, – в столкновении с женщиной, которая ему нравилась и которой положение он считал равным своему; горечь обиды пробудила в нем сознание; а раз подумавши о своем унижении, почувствовав его, он со всей энергией своей природы устремился к тому, чтобы поднять свое достоинство. Же-

нитьба на Анне Акимовне была для него недостаточна; он не мог ясно сознавать всю великость того шага, который делала «купеческая дочка», выходя за него, мужика; для того чтобы вполне чувствовать свою победу, ему нужно было постоянное напоминание о ней, непрерывное упражнение прав победителя над своею жертвою. Сколько он ни обижал ее, сколько ни смирял, сколько ни издевался над нею, все ему казалось мало. Она покорно и молча признала свое бессилие, признала его права над ней, а ему все казалось, что он еще недостаточно доказал и восстановил пред нею свое достоинство. Оттого его мщение было бессмысленно, невольно мучительно для него самого и ничем не могло удовлетвориться, сделалось условием жизни. Умирая, Ефим думал, вероятно, что он еще не довольно показал себя, и если бы его жена воскресла, нет сомнения, что он начал бы с ней опять ту же историю, при первом удобном случае. Ведь он было пришел в разум во время ее болезни – стал ее уговаривать нежными словами; но она отвернулась тогда от него, и он сделался еще суровее, еще беспощаднее.

Величия духа тут, конечно, мало; но в натуре, действующей таким образом, нельзя отрицать присутствия силы, которая, будучи иначе воспитана и направлена, могла бы получить более разумный, человеческий характер. Прибавим еще, что сила эта вовсе не есть исключительная принадлежность немногих натур, а составляет явление довольно обыкновенное в нашем простонародье. Обстоятельства не благоприятствуют правильному ее развитию и упражнению; оттого она проявляется большею частью в действиях уродливых, незаконных, даже преступных. Нельзя хвалить этого, но можно все-таки в самых недостатках и преступлениях различать то, что производится внешним гнетом обстоятельств, от того, что дает сама натура человека. К чему ведут наше простонародье все внешние обстоятельства, его окружающие? Какой характер должен сообщаться всем его наклонностям от того положения, в котором оно находится? Едва ли кто-нибудь [из самых заклятых поборников плантаторства] станет утверждать, что положение наших крестьян могло способствовать развитию в них прямо-

ты, силы [, гражданского героизма] и т. п. Не нужно доказывать, что все, окружающее быт и воспитание нашего простонародья, вело его, в большей или меньшей степени, к развитию пороков и слабостей, [неизбежно] соединенных с [рабским или крепостным, вообще,] угнетенным состоянием, – лести, обмана, подличанья, продажности, лени, воровства и пр., вообще всех тех пороков, в которых надо действовать тайком, исподтишка, а не употреблять открытую силу, не идти прямо, глядя в лицо опасности... И при всем том посмотрите, как много сохранилось в народе именно этого энергического, отважного элемента. Мы не станем здесь указывать на доблестные подвиги наших крестьян для спасения погибающих в огне и в воде, не будем припоминать их храбрости в охоте на медведя или хоть бы в последней войне. Что бы ни доказывали все подобные факты, мы оставляем их в стороне; мы заговорили о пороках и преступлениях и потому, не выходя из этой колеи, укажем только на уголовную статистику низших классов нашего народа. Прочтите хотя ряд известий в этом роде в бывшем «Русском днев-

нике»{17} или в нынешней «Северной пчеле» и постарайтесь дать себе отчет о преобладающем характере преступлений. Вы придете в удивление, если привыкли считать русский народ только плутоватым, а в прочем – слабым и апатичным: южные страсти встречаете вы на каждом шагу, кровавые сцены из-за любви и ревности, отравления, зарезыванья, зажигательства, примеры мщенья, самого зверского, – попадают к вам беспрестанно в этих известиях [; а известно, любят ли у нас все делать известным и как много, вследствие того, доходит до публики из того, что делается]...

Что вывести из этого? Нам кажется возможным одно заключение: народ не замер, не опустился, источник жизни не иссяк в нем; но силы, живущие в нем, не находя себе правильного и свободного выхода, принуждены пробивать себе неестественный путь и поневоле обнаруживаться шумно, сокрушительно, часто к собственной гибели. Как это дурно, нечего и говорить; как желательно, чтобы силы народа направились лучше и служили в пользу, а не во вред ему самому, – это-

го тоже объяснять не нужно. Но, к сожалению, еще очень многим нужно доказывать, что эти силы существуют в народе и что дурное или хорошее направление их зависит от обстоятельств народной жизни, а не от того, чтобы масса народа нашего принадлежала к какой-нибудь особенной породе, способной только либо к апатии, либо к зверству. Еще не мало у нас, в образованном обществе, таких господ, которым ничего не стоит обвинить повально целый народ в неспособности к [гражданской жизни и] всякому самостоятельному устройству, равно как не мало и таких, которые готовы так защитить народ и приписать ему такие возвышенные чувства, что, слушая их, следует только оплакивать совершенную гибель народного достоинства. Для тех и других господ мы считаем весьма полезным внимательное размышление над книжкою рассказов Марка Вовчка. Чтобы облегчить им этот трудный процесс, мы пробовали в этой статье анализировать некоторые, наиболее любопытные, черты народной жизни, представленные в «Народных рассказах» очень живо и ярко, но, при беглом

и поверхностном чтении, могшие не возбудить в читателях того внимания, какого они заслуживают. Чтобы расширить круг суждения о качествах нашего народа, мы старались также провести несколько параллелей между людьми простого звания и между лицами того общества, которое называет себя образованным, на том основании, что, одолевши пять-шесть головоломных наук, в размерах германских гимназических курсов, но с грехом пополам, и, ударившись в ранний космополитизм, оно разорвало связь с народом и потеряло способность даже понимать основные черты его характера. Не много преимуществ, в отношении к нравственным качествам, нашли мы в этом обществе; не много оказалось в нем прав на особенное возвышение его пред простонародьем. Не заходя далеко, а только раскрывая подробнее смысл немногих рассказов Марка Вовчка, так верных русской действительности, мы нашли, что неестественные, крепостные отношения, существовавшие до сих пор между народом и высшими классами, будучи материально и нравственно вредны для крестьян, были еще

более губительны для самих владельцев. Людям, в положении игрушечкиных господ, они приносили, по-видимому, некоторую выгоду внешнюю; но, через это самое, они, во всей своей нелепости и бесчеловечии, впивались в душу этих господ, делались основанием их морали, изгоняли из них здравые понятия и делали их никуда не годными, — между тем как на Машу, Катерину, Надёжу и всех, находившихся в их положении, те же отношения действовали более внешним образом, не проникая внутрь их уже и потому, что были всегда тяжелы и неприятны. Правда, и в этом классе людей крепостное устройство произвело значительное искажение понятий и стремлений: в Надёже и ее подругах, в безответной Игрушечке, в свирепом Ефиме мы видели, как ложно развиваются в них нередко самые добрые начала, самые естественные требования. Но это, во всяком случае, действие не прямое, а посредственное, не положительное, а отрицательное, и главное, это ложное развитие естественных начал вовсе не доставляет беднякам выгоды, даже и внешней. Их можно сравнить с людьми, которые вынужде-

ны есть хлеб пополам с мякиной: долгое употребление такой пищи, конечно, имеет влияние на организм и искажает его здоровье; но едва ли кто-нибудь станет утверждать, что, поевши несколько лет мякинного хлеба, человек делается неспособным есть чистый хлеб. [Напротив, тех людей, которым бывшее крепостное устройство и все общественные отношения, бывшие следствием его, шли впрок, можно уподобить гастрономам, расслабившим и изнежившим свой желудок тончайшими изобретениями поварского искусства: ясно, что они, во-первых, будут гораздо крепче держаться за свой изящный стол, нежели бедняки за свою мякину, а во-вторых, если уж принуждены будут сесть на грубую пищу, то гораздо скорее погибнут от нее, нежели те же бедняки, переведенные с мякины на чистый хлеб...]

Прочитав наши отрывочные и несвязные замечания [(которые в печати представятся еще более несвязными, нежели как были в рукописи),] одни, конечно, найдут их давно знакомыми и излишними, а другие – неосновательными, преувеличенными и неправдо-

подобными. Большая часть людей, любящих литературу, заметит при этом, что в статье нашей вовсе нет *критики* Марка Вовчка. Мы привыкли к подобным замечаниям и, кажется, уже не один раз объясняли, как мы понимаем задачи критики русских беллетристических произведений. Но теперь кстати будет сказать еще несколько слов об этом предмете, в заключение нашей статьи. ... Мы сказали вначале, что Марко Вовчок не дает нам поэмы народной жизни, что у него видим мы только намеки, абрисы, а не полные, отделанные картины. Следовательно, нечего нам было и пускаться в определение абсолютно-эстетических достоинств «Рассказов». Нужно было показать, в какой степени ясны, живы и верны эти намеки и в какой мере важны те явления жизни, к которым они относятся. Мы и обратились к этому пути: мы анализировали характеры, изображенные Марком Вовчком, приводили обстоятельства, способствовавшие правильному или ложному ходу их развития, припоминали русскую действительность и говорили, насколько, по нашему мнению, верно и живо воспроизведены авто-

ром русские характеры, насколько обширно значение тех явлений, которых он коснулся. По нашим соображениям вышло, что книжка Марка Вовчка верна русской действительности, что рассказы его касаются чрезвычайно важных сторон народной жизни и что в легких набросках его мы встречаем штрихи, обнаружившие руку искусного мастера и глубокое, серьезное изучение предмета. Для подтверждения этих выводов мы пускались в довольно пространные рассуждения о свойствах нашего простонародья и о разных условиях нашей общественной жизни. Теперь читателю предоставляется решить, верно ли, во-первых, поняли мы смысл рассказов Марка Вовчка, а во-вторых, справедливы ли и насколько справедливы наши замечания о русском народе. Решая эти два вопроса, читатель тут же решит для себя и вопрос о степени достоинства книги Марка Вовчка. Если мы исказили ее смысл или наговорили небывальщины о народной жизни, то есть если явления и лица, изображенные Вовчком, вовсе не рисуют нам нашего народа, как мы старались доказать, — а просто рассказывают исключи-

тельные, курьезные случаи, не имеющие никакого значения, то очевидно, что и литературное достоинство «Народных рассказов» совершенно ничтожно. Если же читатель согласится с нами во взгляде на смысл разобранной нами книги, если он признает общность и великое значение тех черт, какие нами указаны в книге Марка Вовчка, то, разумеется, он не может не признать высокого достоинства в литературном явлении, так разносторонне, живо и верно изображающем нашу народную жизнь, так глубоко заглядывающем в душу народа. Таким образом, литературно-критическая цель наша будет достигнута без помощи эстетических туманностей, всегда очень скучных и бесплодных.

Что касается до другой цели, которую мы имели в виду в этой статье, — она также не чужда литературе. Именно, пользуясь книгою Марка Вовчка, мы хотели привлечь внимание людей пишущих на вопрос о внешнем положении и внутренних свойствах народа [готового теперь вступить в новый период своей жизни]. До сих пор мы слышали самые разноречивые отзывы о нашем простонаро-

дье, и – нечего скрывать – всего громче высказывались [самые] невежественные и враждебные мнения. Литература, по своему существу долженствующая быть проводником идей просвещенных, а не невежественных, сделала, однако, очень мало по этому вопросу, который теперь для нас несравненно важнее не только пиитического описания разных видов розы или лекций о санскритском эпосе, но даже и всех достоинств г-жи Свечиной{18}. Мы можем насчитать в нашей литературе ряд имен вроде статского советника Григория Бланка, магистра Николая Безобразова, графа Н. Толстого, графа Орлова-Давыдова и т. п., можем припомнить мнения вроде того, что грамота портит мужика, что палка необходима для порядка в народе, и т. д. Но мало наберем мы людей, которые бы с любовью и знанием дела старались восстановить пред публикой достоинство народа и защитить его [полное] право на [участие во всех преимуществах гражданской жизни]. Против мракобесия и палки восставали много; но и тут самые блестящие статьи были написаны с точки зрения отвлеченного права и общих требова-

ний цивилизации [и едва ли была хоть одна статья, в которой бы толково разбиралось, до какой степени и при каких условиях *наш народ* может обойтись без палки и не получить вреда от грамоты]. Видно, к сожалению, что литература наша еще мало имеет общего с народом. Участь рассказов Марка Вовчка служит новым тому доказательством; уже около двух лет они известны публике из «Русского вестника»; в начале нынешнего года вышли они отдельной книжкой, а журналы наши до сих пор едва сказали о них «несколько теплых слов», по журнальной рутине. А пополнялись они в это время важными рассуждениями о первой любви, о художественности г. Никитина, о нравственности Елены в «Накануне» и тому подобных художествах{19}. Один критик взялся было сказать свое слово о Марке Вовчке, да и то доказал только полную несостоятельность свою – говорить о предмете, так далеко превосходящем его разумение...{20} [Неужели же так и суждено нашей литературе навсегда остаться в узенькой сфере пошленького общества, волнуемого карточными страстишками, любовью к звездам

и боязнь пожелать чего-нибудь страстно и твердо?) Неужели только эта грошовая «образованность», делающая из человека ученого попугая и подставляющая ему вместо живых требований природы рутинные сентенции [отживших] авторитетов всякого рода, – неужели она только будет всегда красоваться перед нами в лучших произведениях нашей литературы, занимать собою наших талантливых публицистов, критиков, поэтов? Не пора ли уж нам от этих тощих и чахлых выводов неудавшейся цивилизации обратиться к свежим, здоровым росткам народной жизни, помочь их правильному, успешному росту и цвету, предохранить от порчи их прекрасные и обильные плоды? [События зовут нас к этому,] говор народной жизни доходит до нас, и мы не должны пренебрегать никаким случаем прислушаться к этому говору.

Читатели, признающие истину этих соображений, – надеемся, – [поймут и] извинят нам длину нашей статьи.

Примечания

В прямых скобках [] приведены те места, которые были изъяты по требованию цензуры из первоначальных журнальных публикаций статей и восстановлены впоследствии в первом издании Сочинений Добролюбова, подготовленном к печати Н. Г. Чернышевским в 1862 г.

СНОСКИ

1

Рассказ веден от лица тетки.

[^^^]

2

до абсурда (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

3

юридически... фактически (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

положение обязывает (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Марко Вовчок, Украинские народные рассказы. Перев. И. Тургенева. СПб. 1859.

[^^^]

2

Речь идет о заметке Н. А. Добролюбова «Украинские народные рассказы Марко Вовчка» («Современник», 1859, кн. V), в которой он высоко оценивал «Народні оповіщення» Марко Вовчка и перевод их, сделанный И. С. Тургеневым.

До последнего времени комментаторы сочинений Добролюбова считали эту заметку частью запрещенной цензурой статьи Н. Костомарова о Марко Вовчке, которой она была предпослана. В. Э. Боград убедительно доказал принадлежность этой заметки Добролюбову (см. «Литературное наследство», № 67, стр. 264–266).

[^^^]

3

Речь идет о А. В. Дружинине и его статье «Об «Украинских народных рассказах в переводе И. С. Тургенева» («Библиотека для чтения», 1859).

[^^^]

4

Имеются в виду рескрипты Александра II от 20 ноября и 6 декабря 1857 г. на имя Виленского и С.-Петербургского генерал-губернатора об «улучшении быта крепостных крестьян».

[^^^]

5

Людьми, любящими толковать о гниении Европы, Добролюбов называет славянофилов.

[^^^]

6

Украинское крестьянство было закрепощено лишь при Екатерине II.

[^^^]

7

Речь идет о книжке, изданной в 1859 г. Н. С. Толстым: «Шесть вечеров с разговором плантатора и меланхолика», отрывки из которой Добролюбов приводит в № 4 «Свистка» в примечании к сатирическому стихотворению «Дружеская переписка Москвы с Петербургом».

[^^^]

8

«Сельское благоустройство» – ежемесячное приложение к славянофильскому журналу «Русская беседа», издававшееся в 1858–1859 гг. в Москве под редакцией А. И. Кошелева.

[^^^]

9

...«аплодисменты». – Имеется в виду сцена кулачной расправы станового с крестьянином, нарисованная Салтыковым-Щедриным во «Введении» к «Губернским очеркам».

...душеспасительное ...русское слово, убеждающее русского человека работать не впрок, себе. – Речь идет о главе «Русской помещик» в книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (см. Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, М. 1952, т. VIII, стр. 321–328).

[^^^]

10

Рассказ «Маша» появился в начале 1859 г. в славянофильском журнале «Русская беседа».

[^^^]

11

Речь идет о французском мелкобуржуазном публицисте и социологе П.-Ж. Прудоне.

[^^^]

12

...землевладельцы писали в своем журнале. –
Имеется в виду «Журнал землевладельцев»,
орган консервативного дворянства, издававший
с 1858–1860 гг. в Москве.

[^^^]

13

Намек на революцию 1848 г. в Европе.

[^^^]

14

Цитируется стихотворение славянофила А. С. Хомякова «Россия» (1839).

[^^^]

15

Рабовладельческую сущность приводимых высказываний разоблачал Н. Г. Чернышевский в статье «Леность грубого простонародья», появившейся в февральской книге «Современника» за 1860 г.

[^^^]

16

Андрей Колосов – герой повести И. С. Тургенева того же названия (1844).

...*князь Н.* – персонаж повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850).

[^^^]

17

«*Русский дневник*» – ежедневная официальная газета, основанная в 1859 г. и в этом же году прекратившая свое существование.

[^^^]

Имеется в виду полемика между редакциями «Русского вестника», «Московских ведомостей» и «Нашего времени» о С. П. Свечиной по поводу статьи о ней Е. Тур в «Русском вестнике». Социальный смысл полемики вскрыт в статье Н. Г. Чернышевского «История из-за гжи Свечиной» («Современник», 1860, кн. VI).

[^^^]

Статьи о творчестве И. С. Никитина печатались в 1860 г. в «Русском вестнике» (статья Де-Пуле) и «Светоче», о творчестве И. С. Тургенева – в «Русском слове» (статья за подписью: «К-ской»), «Отечественных записках» (статья Басистова), во «Времени» (статья Бибикова) и др.

[^^^]

Кроме А. В. Дружинина, о Марко Вовчке тогда писали: М. Устинов («Библиотека для чтения», 1859), Де-Пуле («Русское слово», 1859) и др.

[^^^]

[^^^]